

С.А. Никольский, В.П. Филимонов

РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КАК ВОЗМОЖНО В РОССИИ
ПОЗИТИВНОЕ ДЕЛО: ПОИСКИ ОТВЕТА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
И КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
40–60-х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ



Русское мировоззрение

Сергей Никольский

**Русское мировоззрение.
Как возможно в России
позитивное дело: поиски ответа
в отечественной философии
и классической литературе
40–60-х годов XIX столетия**

«Прогресс-Традиция»

Никольский С. А.

Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов XIX столетия / С. А. Никольский — «Прогресс-Традиция», — (Русское мировоззрение)

Авторы продолжают содержательную реконструкцию русского мировоззрения и в его контексте мировоззрения русского земледельца. В рассматриваемый период существенно меняется характер формулируемых русской литературой и значимых для национального мировоззрения смыслов и ценностей. Так, если в период от конца XVIII до 40-х годов XIX столетия в русском мировоззрении проявляются и фиксируются преимущественно глобально-универсалистские черты, то в период 40–60-х годов внимание преимущественно уделяется характеристикам, проявляющимся в конкретно-практических отношениях. Так, например, существенной ориентацией классической литературной прозы становится поиск ответа на вопрос о возможности в России позитивного дела, то есть не только об идеологе, но и о герое-деятеле. Тема сознания русского человека как личности становится главным предметом отечественной литературы и философии, а с появлением кинематографа – и визуально-экранного творчества.

Содержание

Предисловие	5
I. Отечественные философы 40–60-х годов XIX столетия и проблематика русского земледельческого мировоззрения	8
Глава 1. Социально-политические и философские воззрения Н.П. Огарева, А.И. Герцена и М.Н. Бакунина (ранний период творчества)	9
II. Отечественная литература и литературно-критическая мысль 40–60-х годов XIX столетия и проблематика русского мировоззрения	24
Глава 2. Возможно ли в России позитивное дело: романное творчество И.С. Тургенева	25
Глава 3. Русский человек в деле и недеянии: опыт исследования И.А. Гончарова	72
Конец ознакомительного фрагмента.	90

С.А. Никольский, В.П. Филимонов

Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов XIX столетия

Предисловие

И.С. Тургенев, а вслед за ним И.А. Гончаров и Л.Н. Толстой своим творчеством сделали для рефлектирующего общественного сознания российского общества две принципиально важные и новые вещи. Прежде всего они ввели в его контекст ранее отсутствовавшие фигуры, обладающие своим собственным, неповторимым и невыдуманым голосом. Это были голоса крестьян и помещиков, изображенных не в своей «роевой» массе и карикатурно, а индивидуально-конкретно и позитивно. Это также были и голоса незаурядных, самостоятельно строящих свою жизнь женщин.

В их творчестве русское мировоззрение начинает обнаруживать в своем содержании до этой поры никем не анализировавшиеся, хотя и отмечаемые, черты. Прежде всего это была его расколотовость на патриархальную и европеизированную составляющие, на что впервые указал своими философскими письмами П.Я. Чаадаев.

Постоянной чертой русского мировоззрения в романной прозе Тургенева становится сосредоточенное внимание не только к внешнему миру, природе прежде всего, но и к внутреннему миру человека. В русском сознании Гончаров увидел и подверг анализу примат эмоционально-чувственного начала над началом рациональным, что, безусловно, входило в противоречие с традицией европейской, признававшей доминирующее положение разума над эмоциями¹.

Опять же Тургенев, а вслед за ним и Толстой с восхищением описали обнаруженный в русском земледельческом сознании факт житейски-спокойного приятия смерти и даже характерное для многих его носителей отсутствие боязни потустороннего мира. Они также фиксировали наличие в нем устойчивой убежденности о взаимопроникновении реального и загробного миров.

Тургенев, а вместе с ним Гончаров и Толстой четко формулировали и принципиально новую для отечественного мировоззрения тему созидательного, позитивного дела и характерные личностные черты людей, вовлеченных в этот процесс. Именно начиная с этих авторов (конечно, отдавая должное аналогичного рода попыткам, которые мы обнаруживаем в творчестве Гоголя), по отношению к российской действительности стало истинным утверждение: России – это страна, которая не сплошь населена «мертвыми душами» и «лишними людьми». В ней, как и в любой другой, возможно и имеет место созидательное начало, – то, что принято называть «позитивным делом». Именно этой жизнеутверждающей и очень важной для

¹ Примечательно, что десятилетия спустя о большей эвристической ценности художественно-интуитивного познания мира в сравнении с научно-рациональным писал крупный русский философ Ф.А. Степун. Говоря о Г. Федотове, Степун отмечал: «Свои мысли о России он последовательно раскрывал в образах русских людей и русской истории, правильно чувствуя, что художественно-интуитивное созерцание мира ведет к более глубокому постижению его, чем то доступно научно-рационалистическому познанию» (*Стенун Ф.А. Чаемая Россия*. СПб.: РХГИ, 1999. С. 314).

национального самосознания истиной обогащается русское литературное философствование в середине XIX столетия.

Конечно, находимые в произведениях периода 40–60-х годов у Тургенева, Гончарова и Толстого размышления о мировоззрении русского земледельца органично вписаны в крестьянско-помещичью земледельческую хозяйственную и бытовую среду, в чем они продолжают традиции русской классической литературы в лице Пушкина, Гоголя, Кольцова. Однако уже в это время творчество писателей, опубликовавших многие из своих главных произведений в этот период, дает основание говорить о разделении внимания художника между помещичьей усадьбой и крестьянской деревней, между мировоззрением земледельческо-крестьянским и более развитым мировоззрением земледельцев-помещиков.

Естественно, что эти два рода мировоззрения – крестьянина и помещика, все больше расходящиеся из довольно однородного целого, отмечавшегося, например, Пушкиным, в своем различии к середине XIX столетия оказываются на новом уровне. Причиной этого была прежде всего более насыщенная в сравнении с XVIII веком культурная и общественная жизнь сельского дворянства, пережитые страной события, и прежде всего война 1812 года и выступление декабристов ^[1]. Сыграли свою роль и более активные контакты с Европой: поездки на отдых, путешествия, привившийся в России обычай учить детей за границей. Все это развело мировоззрения крестьян и помещиков, разделило имевшуюся до этого целостность под названием «мировоззрение земледельца» на две ветви.

Этому, безусловно, также способствовали и собственные пути развития европейской культуры, потребителем и участником становления которой оставалась наша страна. С другой стороны, и общие процессы медленной, но все же либерализации собственно российской жизни (ряд социальных реформ, не говоря уже о надвигающейся и свершившейся в 1861 году отмене крепостного права) способствовали расширению сфер проявления национального самосознания и более активному становлению русского мировоззрения.

Включению России в европейский культурный контекст, в отличие от предшествующего периода, способствовала и новая российская философская мысль. Не только европейское образование новых русских мыслителей, но и их жизнь, вынужденно проходившая вне России, в Европе, делали их «русскими европейцами». В полной мере это относится к трем главным философским фигурам этого периода – А.И. Герцену, Н.П. Огареву и М.Н. Бакунину. Благодаря их творчеству русская литературная классика получила дополнительную интеллектуальную подпитку, отсутствовавшую ранее активную сторону диалога, возможность содержательного интеллектуального взаимодействия. Конечно, многие сюжеты и идеи в русской литературной классике возникали и осмысливались благодаря развитию собственно российских социально-политических и духовно-нравственных процессов. Но влияние бурного европейского буржуазного развития, в том числе революционных катаклизмов конца 40-х годов, также сыграло свою роль.

В рассматриваемый период существенно меняется характер формулируемых русской литературой и значимых для национального развития проблем. Так, если в период от конца XVIII до 40-х годов XIX столетия в русском самосознании и мировоззрении, мировоззрении земледельца в том числе, как мы полагаем, проявляются и фиксируются крупными литераторами преимущественно глобально-универсалистские черты, то в период 40–60-х годов на первое место выдвигаются характеристики хотя и имеющие статус обобщенно-философских, но также проявляющиеся и в конкретно-практических отношениях. Так, характерной особенностью рассматриваемой нами романной прозы И.С. Тургенева становится поиск ответа на вопрос о возможности в России позитивного дела и соответственно о герое-деятеле, а не только о герое-идеологе, как это было прежде. Еще дальше и глубже в этом направлении продвигается И.А. Гончаров, ставивший в своих романах «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» как общенациональную задачу проблему систематического практического дела, противополо-

ложную традиционно российской, в том числе и сформированной столетиями монголо-татарской неволи и крепостного состояния практике «недеяния». В художественных произведениях этого периода также глубоко анализируется привычная для русской ментальности проблема соотношения сердца и разума, доминирования чувственного начала над началом разумно-практическим.

Конечно, тема «сердца – разума» не была литературной новацией, придуманной именно в этот период исторического развития страны. Для русской культуры всегда был значим чувственно-сердечный и содержательно-смысловой контекст. О нем мы подробно будем говорить в дальнейшем. Здесь же акцентируем внимание на действительной проблеме, характерной для «поэтической средневековой философии», к которой, без сомнения, относится и русская философия этого периода, как ее определяет В.В. Биbihин. Средневековое слово, пишет он, «знает, что в середине вещей тайна». «Речь находится здесь под особенной стражей. Нельзя доверяться себе; ты рискуешь сказать не то и не так; слово тогда ускользнет от доброй воли, его оседлает чуждая сила, а ведь человека грязнит не то, что он принимает внутрь, а то, что из него исходит. «Исходящее из уст выходит из сердца, и это загрязняет человека. Потому что из сердца выходят злые размышления, убийства, непристойности, блуд, воровство, ложные доносы, сквернословие»².

Нечто подобное, очевидно, и ощущала всегда русская литература и, в частности, И.А. Гончаров, когда он старался донести до нас свои размышления о «сердце и разуме», искусно вплетая эту проблему в создаваемые образы Ильи Ильича Обломова и Андрея Ивановича Штольца, умышленно безмерно расширяя и без того огромное, чистое сердце Обломова.

По-новому к проблеме мировоззрения русского земледельца, меняя представления о содержании российского самосознания, в своем творчестве вслед за И.С. Тургеневым, И.А. Гончаровым и Л.Н. Толстым подходят Д.В. Григорович и С.Т. Аксаков. В их текстах этого периода проблематика природы и народа, помещичьей усадьбы и крестьянской деревни как особых миров, в контексте которых развивается национальное земледельческое мировоззрение, обнаруживает новое, ранее не фиксировавшееся содержание. И конечно же свой поворот в анализ проблемы вносит творчество Н.А. Некрасова и писателей народнической ориентации, рассмотрение идейного содержания которого нам еще предстоит в дальнейшем и с которым в рамках периода 40–60-х годов мы только начинаем знакомиться.

В завершение работы мы, как и раньше, остановимся на наиболее значимых отечественных экранизациях литературных произведений русских классиков, продолжая отвечать на вопрос об идейном прочтении современными художниками тех мировоззренческих смыслов и ценностей, которые были заложены в произведения их авторами полтора века назад.

² Биbihин В.В. Язык философии. СПб.: Наука, 2007. С. 322.

I. Отечественные философы 40–60-х годов XIX столетия и проблематика русского земледельческого мировоззрения

Теоретические и мировоззренческие позиции, отстаиваемые явно или завуалированно авторами художественных произведений, иногда требуют, а иногда и предвосхищают их содержательное прояснение или более точное формулирование в рамках философского знания. И поскольку эти теоретические и мировоззренческие позиции до того, как облечься в художественные формы, в теоретической форме часто присутствуют в текстах профессиональных социальных мыслителей, то из этого, естественно, вытекает необходимость их специального анализа.

Вместе с тем, поскольку такого рода работа вписывается в рамки деятельности профессиональных историков русской философии, она создает для нас необходимость обозначить в этой сфере свой специфический круг интересов. Таковым, на наш взгляд, должно быть рассмотрение тех вопросов и проблем, которые в явном или скрытом виде, во-первых, стали предметом анализа литераторов в связи с исследованием русского мировоззрения вообще и мировоззрения русского земледельца в частности. И во-вторых, тех, которые, не сделавшись для писателей предметом специального художественного рассмотрения, тем не менее были значимы или оказали воздействие на существо рассматриваемых тем.

В этой связи наш интерес прежде всего вызывают фигуры продолжателей западной традиции в русской философии, которые ранее других в истории отечественной философской мысли сделали попытку разработать идеологию так называемого крестьянского общинного социализма.

Глава 1. Социально-политические и философские воззрения Н.П. Огарева, А.И. Герцена и М.Н. Бакунина (ранний период творчества)



Первым в череде этих мыслителей следует назвать имя *Николая Платоновича Огарева (1813–1877)*, который вместе со своим другом А.И. Герценом без остатка посвятил жизнь поиску разумного и наименее болезненного для крестьянства способа реформирования российского аграрного производства и устройства общественной жизни вообще. Причем делал это столь последовательно, что, может быть, один из всего длинного перечня российских теоретиков-преобразователей, настроенных как революционно, так и реформистски, включая великого литературного печальника о крестьянских судьбах графа Л. Толстого, начал с поступка личного. После смерти отца Огарев, получив огромное наследство, отпустил на волю 1820 крепостных (с семьями – около 4000 человек). При этом в ряде имений крестьянам была передана вся помещичья земля, богатые заливные луга и лесные массивы. В то же время в других местах он основал спиртовые, бумажные и сахарные заводы и на принципах свободного наемного труда организовал сельскохозяйственные фермы. Попутно Огарев отказался от всех прав и привилегий, полагавшихся ему как члену дворянского сословия.

Сделано все это было в 1846 году – за 15 лет до официальной отмены крепостного права. В письме к А.И. Герцену по поводу принятого решения Огарев писал: «Друг! Чувствовал ли ты когда-нибудь всю тяжесть наследственного достояния? Был ли у тебя когда-нибудь горек кусок, который ты кладешь в рот? Был ли ты унижен перед самим собой, помогая бедным – на чужие деньги? Как глубоко чувствуешь ты, что только личный труд дает право на наслаждение? Друг! Уйдем в пролетарии. Иначе задохнешься»³.

Исследователи жизни и творчества Н.П. Огарева отмечают в принципе редко встречающуюся у людей теоретического склада ума способность объединения собственного слова и

³ *Огарев Н.П.* Письмо к А.И. Герцену от 14 февраля 1845 г. Цит. по: *Огарев Н.П.* Избранные социально-политические и философские произведения. М.: Гос. издат. политической литературы, 1952. С. 9.

дела. К Огареву это, как видим, может быть отнесено. Кроме того, будучи последовательным и убежденным сторонником продолжения в России главного дела декабристов – ограничения монархии, он уже в университете предпринял попытку создать тайное общество последователей участников декабрьского восстания, за что, в частности, подвергся аресту и тюремному заключению, а позднее был помещен под надзор полиции и сослан. Непрерывающиеся полицейские преследования, равно как и общее усиление реакции, побудили Огарева в 1856 году и вовсе покинуть Россию и присоединиться к Герцену, избрав для себя судьбу политического эмигранта.

Одна из первых социально-философских публицистических работ Н.П. Огарева – написанное в марте 1847 года для «Современника» ироническое «Письмо из провинции», подписанное псевдонимом «Антон Постегайкин». В нем в разговорной, на грани ерничества, форме приоткрываются реалистические картины крестьянской жизни, поданные столь резко и правдиво, что не допускают сомнений в подлинных симпатиях и антипатиях изображающего их автора. Главными смысловыми моментами, вокруг которых разворачивается повествование, являются следующие три истории. Первая посвящена извечной для русской словесности проблеме народной «темноты» и ее церковного просвещения. Так, повествователь сообщает, что русский крестьянин почти не употребляет мяса: дорого, да и грех. В самом деле, среда и пятница – постные дни, да и в великий и в другие посты мясо есть нельзя. А русский мужик, по мнению Огарева, набожен. Вот приходит к рассказчику крестьянин и чуть не в ноги падает: помоги, сын помирает оттого, что ничего не ест. В беседе выясняется, что сыну три года от роду, а «не ест» он потому, что просит молока, которое в пост пить грех. А когда по настоянию рассказчика ребенку дали молока, он тут же на второй день и выздоравливает.

Во второй истории сообщается о «проступке» помещика, который, добиваясь от крестьян усердия в работе, запрещал бабам, имеющим грудных или малых детей, отвлекаться на них во время полевых работ. В результате «маленькое несчастье случилось. Баба пришла на поле и, разумеется, люльку с ребенком поставила наземь, а сама работает. А мальчишка поганый возился, возился в люльке, высунул руку, да и стал землю играть; а тут вместо простой земли случись муравьиная куча. Муравьи и поползли по мальчишке, залезли и в уши, и в глаза, и в нос, и в рот, кусают; ребенок кричит. Баба, само собой разумеется, не смеет работы бросить и подойти к люльке. Ребенок покричал, покричал да богу душу и отдал. Для дела это скверно, а все же тут никто не виноват. Не случись тут муравьиной кучи, ничего бы и не было. А нельзя же бабам потачку дать; пожалуй, и все время будут около ребят возиться, а барскую работу упустят. Известное дело, что раз поутру баба ребенка покормила, он до обеда и есть не попросит, разве мать избалуует, да баловать нисколько не нужно»⁴.

В третьем рассказе с нескрываемой иронией автор повествует о том, как в одном уезде жил хороший мужик по фамилии Суворов, «да вдруг ему ни с того ни с сего вообразилось, что у нас никакого правосудия нет (выделено нами. – С.Н., В.Ф.). Он и пошел в разбойники, жил, не знаю где и как, только на всю сторону навел трепет, хотя – как я уже сказал – никогда мужика на большой дороге мизинцем не задел. А исправник ли, заседатель ли какой без ружья или кистеня бывало и не выедет. Да не помогало и оружие! Суворов был парень ловкий. Извозчик его боялся; завидит – бросит вожжи и убежит в кусты. А Суворов и нагрянет; ружье и кистень к черту и тут-то несчастного чиновника сперва ограбит, а потом розгой или палкой пронимает, пронимает, да приговаривает: в другой раз захочешь народ обижать, помни, такой-сякой, Суворова. Весь наш уезд, говорят, в отчаяние приходил от этого зловердного грабителя»⁵.

В «письме» есть и другие истории такого же рода. Однако мы выделили прежде всего эти три потому, что в них, на наш взгляд, наиболее выпукло дается представление о важней-

⁴ Там же. С. 74–75.

⁵ Там же. С. 79–80.

ших для Огарева с точки зрения концепции крестьянского общинного социализма темах. Это темы «традиции» (первый рассказ), «обычной практики», в смысле теперешнего состояния дел (рассказ второй) и «новации» – как одного из рецептов того, что предлагается для будущего российского устройства самодержавным, но делающим попытки европеизироваться государством (рассказ третий). Надо сказать, что при всей своей кажущейся «эскизности» в изображении реальных российских проблем произведение Огарева не лишено точности и изящества, в том числе если смотреть на него с позиций современного достаточно искушенного читателя. Впрочем, основные теоретические тексты, содержащие существо проблематики крестьянского общинного социализма, сосредоточены в других работах Н.П. Огарева. Это прежде всего его знаменитые четыре статьи с общим названием «Русские вопросы».

Анализируя воззрения Огарева и в дальнейшем Герцена с позиций сегодняшнего дня, невольно задаешься вопросом: с чем связано то, что они, европейски образованные и либерально настроенные мыслители, столь большие надежды возлагали на, кажется, очевидно неэффективный инструмент общественного устройства – общинную организацию крестьян? И вот какие ответы в этой связи приходят на ум.

Первый связан с тем, что, в отличие от ряда чистой воды «служителей идеи», которых и в то время, и тем более в позднейшей России было достаточно, Огарев и Герцен были не только «идеологически нацеленными мыслителями», но и прагматиками. Они понимали, что капитализм в России только-только начинает развиваться. И если в промышленности к середине XIX века отмечается появление первых нескольких тысяч предприятий с наемными работниками и первых железных дорог – прообраз будущей инфраструктуры целостной в своем производстве и рынке страны, то в сельском хозяйстве дела велись так же, как и триста лет назад.

Мы уже анализировали (и намерены делать это и далее) эту проблему на примере литературного творчества. Писатели своим творчеством свидетельствовали: «новые» люди в стране только рождаются и довольно редки. Хозяйства «нового типа» пока существуют лишь в проектах и в первых робких единичных опытах. Везде господствует крестьянская община, в отдельных местах лишь в малой степени «облагороженная» некоторыми европейскими новациями. Общинный уклад преобладает повсеместно, и ростков нового, более совершенного уклада пока не предвидится. Таким образом, первый ответ о надеждах на крестьянскую общину был связан с адекватной оценкой существующей хозяйственно-экономической, политической и социальной реальности. То есть если говорить о возможности революционных по своим последствиям действий, то в современной России они могут иметь место только в связи с крестьянской общиной.

Второй ответ диктуется опять-таки реализмом позиций Огарева и Герцена: их знание о становлении капитализма в сельском хозяйстве Запада побуждало их скорее к негативным, чем к позитивным, его (этого становления) оценкам. Избежать несчастий и бедствий первых этапов капиталистического развития, не допустить в России становления нового, может быть, не меньшего, чем самодержавие, как они полагали, буржуазного зла, было их патриотической целью.

И наконец, последний ответ об упованиях на общественный потенциал общины связан с извечной, многократно повторяемой отечественными мыслителями и политиками-практиками российской ошибкой-иллюзией, согласно которой опережающий Россию Запад в своем поступательном движении допускает и обнаруживает ошибки, которые следующая за ним Россия имеет шанс и может вовремя увидеть и избежать. Кроме того, Огаревым и Герценом, как нам представляется, могла владеть и опять-таки сугубо российская иллюзия, что нам, не допуская какого-то этапа, какой-то формы прогрессивного развития, наблюдаемого на Западе, удастся все-таки получить (неизвестно каким образом) все «плюсы», вытекающие из этой формы, а все «минусы» (опять же неизвестно как) избежать. Для этого также нужно, чтобы Запад шел впереди, а мы бы видели и вовремя реагировали на обнаруживаемый им как «позитив», так

и «негатив». В общем, доводов за развитие «крестьянского общинного социализма» в России было достаточно. Как же он представлялся?

Написанные в 1856–1858 годах статьи «Русские вопросы» изначально задумывались как попытка участия мыслящего, либерально настроенного человека в разрешении давно назревших российских проблем. И участия, что важно отметить для позиции именно Огарева, в продуктивном взаимодействии с властями. Огарев пишет: «...искренняя цель моя была поднять все животрепещущие русские вопросы: да решат их юное правительство и вновь оживающая Россия»⁶.

Безусловно, важнейшим среди всех вопросов был вопрос об уничтожении крепостного права. И поэтому первая статья Огарева начинается словами: «Мы уверены, что император Александр освободит крепостных людей в России». И тут же в развернутом виде следует главная авторская идея: «Мы не желаем, чтобы в вопрос освобождения крестьян вошло искажение всех понятий русского народа о собственности. Русский народ не может отделить себя от земли, землю от общины. Община убеждена, что известное количество земли принадлежит ей... Эта нераздельность человека и земли, общины и почвы – факт. Есть ли он результат глубокой древности, сложился ли он во время петровского периода – все равно; дело в том, что в понятии русского народа иное устройство невозможно.

Освобождение крепостных людей без земли противно духу русского народа, и вдобавок их можно легко освободить с землей. Введение в России пролетариата, который до сих пор у нас неизвестен, не нужно»⁷.

Читая эти строки, нельзя не отметить историческую проницательность Огарева. Он ясно понимает опасность как сохранения положения в том виде, в котором оно есть, так и уничтожения крепостного права радикальным способом – освобождением крестьян без земли. Что произошло бы в этом случае? По его мнению, Россия встала бы на худший путь – путь западного развития, которому свойственны ужасы «бесплодных кровопролитий, раздробления собственности, нищенства, пролетариата, формально законных и человечески несправедливых судов, притеснений, позорного мещанского тиранства, лицемерия»⁸. В этом случае, далее, цену за наем земли станет устанавливать «буржуа-помещик» и у крестьян не останется никакой свободы выбора. Возникнет рабство, едва ли не худшее, чем нынешнее. «А ведь можно, – уверен он, – перейти от рабства к действительной свободе. Дайте крестьянам землю, которой они теперь *de facto* пользуются. Вознаграждение помещиков посредством банковых или иных операций можно же придумать...»⁹

В своих письмах – своеобразных «беседах» с властью – Огарев, что важно отметить, избирает не критико-конфронтационную манеру обсуждения проблемы и тем более не встает на позиции крайнего революционаризма, который в конце 50-х годов уже давал о себе знать. Его манера, скорее, рекомендательно-советническая, что, впрочем, не снижает ее содержательной взыскательности. Так, в вопросе поиска для правительства как субъекта действия достойного собеседника-диспутанта Огарев неумолимо избирателен, конкретен и строг. По его мнению, правительству в деле освобождения крепостных людей бессмысленно «обращаться за советом» к сословиям российского общества. Так, «большие бары» воспитаны в заоблачной сфере, никогда не соприкасаются с народом и к тому же до крайности развращены. Мелкопоместное дворянство лишено воспитания и отлично умеет одно – выжимать из мужика последние соки. Купечество – каста, считающая себя пауками, а всех остальных – мухами. Чиновники – члены

⁶ Там же. С. 114.

⁷ Там же. С. 106–107.

⁸ Там же. С. 108.

⁹ Там же.

одной организации повсеместного грабежа. Народ не обладает рациональными понятиями и руководствуется чутьем и инстинктами. С кем же можно вести диалог?

Остается одно сословие – «дворяне средней руки», которые, с одной стороны, образованы и привыкли мыслить, а с другой – живут рядом с народом, знают его и не продавали своей совести за места по службе. «...Юному русскому правительству следует обратиться к образованным русским людям не по долговременности их службы, а по мере их независимости от службы; не по мере значительности, а по мере незначительности их чина. Эти люди остались самобытны и независимы, следовательно, добросовестны. В этих людях в настоящую эпоху выражается высшее развитие русской мысли; они могут быть советниками и помощниками»¹⁰. И главное понимание, которым они вместе с крестьянами обладают, – это понимание того, что представляет собой русская община.

В спорах об общине, по мнению Огарева, одинаково неправы славянофилы и западники. Первые полагают, что община – исключительно славянское устройство общества, от которого мы, потомки, не должны «уклоняться», принимая разные «нерусские» нововведения¹¹. И чем неукоснительнее мы будем этому «наидревнейшему порядку вещей» следовать, тем лучше. Вторые же, западники, на это обычно отвечают, что, во-первых, община не есть исключительно русское изобретение, а необходимая, варварская стадия развития общества, бывшая у многих народов. Что в России, во-вторых, она была насаждена правительством с целью прикрепления к земле кочующего народа.

По Огареву, заблуждаются, хотя и по-разному, обе группы. И если славянофилы стараются «смотреть вперед затылком», то западники углубляются в историю, а на вопрос о дальнейшем развитии ответа не дают. Но все это – ученые споры, а общество тем не менее требует решения реальных проблем и ясного ответа на вопрос: должна ли община в России быть разрушена или у нее есть будущность?

По мнению Огарева, крестьянская община в России держится силой обычая, которая столь велика, что разрушить ее невозможно, да и пытаться не стоит. Община, что вытекает из его представлений, оптимально поддерживает баланс между выживанием и эффективностью. В самом деле, община одна владеет пахотной землей и дает ее участки своим членам в пользование с переделом один раз в три года, в зависимости от трехпольного севооборота. Огороды и гумна – подворные владения. Луга и выгоны – общие. Изба, скот, полевые орудия у каждого свои. Земля делится по тяглам, и, чем тягол меньше, тем участки больше. Общинная собственность исключительно земельная и ненаследственная, а вся остальная крестьянская собственность – наследственная и частная.

Вместе с тем крестьянин беден и необразован, и это – факт. Но является ли это следствием общинного устройства, или следствием других причин, или следствием общинного устройства жизни и других причин вместе? В Европе, отмечает Огарев, отказ от общинного устройства произошел отнюдь не добровольно. Община была вытеснена внешними факторами. Пришедшее ей на смену современное, послеобщинное положение европейских народов – частная собственность на землю – далеко от совершенства. Оно тягостно: собственность развивается параллельно с нищетой. Более того, концентрация собственности в руках немногих, с одной стороны, и дробное землевладение вследствие наследования (когда земля по наследству делилась между всеми наследниками) – с другой, стали настоящим бедствием. Во Франции, например, «кровавые революции повторяются судорожно и бесплодно, принося вместо гражданской свободы позорный деспотизм». Так, в результате революции 1789 года крестьянин

¹⁰ Там же. С. 111–112.

¹¹ В одном из писем В.Г. Белинскому А.И. Герцен сообщает точку зрения одного из известных славянофилов на Россию: «...род человеческий после разделения Римской империи одной долей сошел с ума, именно Европой, а другой в ум вошел, именно Византией и потом Русью. Если б татары не повредили, а потом Москва, а потом Петр, то и не то бы было» (цит. по: Прокофьев В. Герцен. ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 1987. С. 156–157).

сделался собственником, а землевладение стало дробным. Но одновременно возникло восемь миллионов новых безземельных крестьян, и опять стала реальной революционная угроза.

С позиций такого способа решения земельного вопроса русский крестьянин благоденствует: во-первых, он не может раздробить свой участок и, во-вторых, никогда не станет «бездомником». «Он никогда не пролетарий», – резюмирует Огарев. При общинном землевладении никому «не отказано в земельном участке; не-собственника нет, и у всех участки равны. ... Изменения способа землевладения требовать нельзя, потому что участки распределены справедливо; к революционному кровопролитию нет повода; людям остается два естественных выхода – выселок и усиление артельной промышленности. Выселок при общинном устройстве имеет естественное стремление к общинной колонизации на новой почве»¹².

Вместе с тем, продолжает свой анализ Огарев, преодоление феодализма в Европе принесло ее жителям многие выгоды. Развилось уважение к неприкосновенности лица, собственности, жилища, возникло понятие чести, укрепились гласность суда и мнения, возобладал закон, прогрессировала наука, в том числе земледелие и промышленность, равно как и образованность в целом.

«Между тем в России наглость обращения всякого мало-мальски высшего с низшим и крепостное состояние доказывают совершенное неуважение к лицу. Ни единый человек, выше тебя поставленный, не постыдится оскорбить и нахально переступить порог твоего дома, особенно если этот дом – изба. Понятие чести замерло перед этим нахальством. Личность не выработалась до самостоятельности... Всякая защита своего права и правды у нас считается бунтом, а подлость если не доблестью, то, по крайней мере, делом естественного порядка вещей. Крепостное состояние и чиновничество стерли неприкосновенность собственности. Судят и осуждают людей втихомолку, основываясь на подкупе, лицемерии и притеснении. Мнению высказаться вслух нельзя, и на устах русского лежит печать молчания. ... Наша наука отстала, наша промышленность и особенно земледелие в совершенном младенчестве»¹³.

Но означает ли это, что именно народы Запада нашли верный путь, а Россия всего лишь упорствует, не желая признать его верным? Ответ Огарева отрицательный. Во-первых, на Западе все описанные ранее позитивные явления действительны лишь в отношении очень узкого, как он полагает, круга собственников. Уважение к лицу, равно как и уважение его свободы, существует только для собственника. «... Уважение к лицу и собственности лордов действительное, а уважение к лицу наемщика земли мнимое». Неимущие – огромное большинство – всего этого лишены. Для них капитализм (хотя этого термина у Огарева нет. – С.Н., В.Ф.) создал новый вид рабства, еще более жуткого, чем рабство феодальное.

И вот теперь Огарев подходит к своему главному вопросу, над которым задумаемся и мы: не легче ли «идеал общинности (то есть благополучия для всех. – С.Н., В.Ф.) развивать из формы общинного землевладения, чем из форм собственности совершенно противоположных? На основании противоположных форм землевладения стремление к общинности может идти только посредством насильственных кризисов, потому что надо ломать существующее, между тем как при общинности землевладения надо только оставить это начало свободно, беспрепятственно и естественно развиваться без всяких общественных потрясений. ... Весьма счастливо, что в России нельзя стереть форму общинного землевладения. Народ не уступит ее никакой силе; как ни бессознателен обычай, но он укоренился, и весьма счастливо, если он совпадет с разумностью»¹⁴. И если до сих пор Россия не получала выгоды от общинности, то только потому, что помещик и чиновник «поставили границу развитию общинного начала. Развивалась только администрация. Дурное состояние земледелия и промышленности произ-

¹² Там же. С. 145.

¹³ Там же. С. 146–147.

¹⁴ Там же. С. 152.

ходит не от общинного начала, а от помещичьего права и административного насилия. Если же где в России случайно сохраняется крестьянская община, избавленная от вмешательства помещика и чиновника, то она существует по своему обычаю и благоденствует. Так, она самоуправляется, избирая и смещая старосту; делит землю по тяглам; не вмешивается в частную жизнь человека; в спорах решающим является слово старших; староста собирает оброк и повинности и держит за них отчет перед миром. И это только «младенческое» состояние крестьянской общины. «Дайте развиваться ей, и вы увидите подлинное крестьянское общинное начало», – восклицает Огарев. «Лучше устроить так, чтобы не было ни единого человека в России, который бы не имел своего земельного участка в общине, чем искать для России других форм землевладения, в глазах наших осуждаемых историко-экономическим опытом.

... Не станемте же гнать общинного начала, но примемте его за факт и дадимте ему все способы к своеобразному гармоническому развитию.

Прежде всего снимемте препятствия к этому развитию, т. е. помещичье право и чиновничество, потом станемте пещись о распространении образования не на основаниях насилия.

... Уничтожение помещичьего права началось благодаря благородным стремлениям Александра II»¹⁵. Эти уже реально начавшиеся позитивные процессы, полагает Огарев, должны быть поддержаны.

Наряду с проблемами развития общины и едва ли не большим российским злом продолжает оставаться чиновничество. Этот слой российских администраторов впитал в себя «всю гадость татарщины» и «всю гадость немецкого бюрократизма», что привело к тому, что страна была опутана прочно сотканной сетью всеобщего чиновничьего грабительства. Спасение от этого несчастья опять же подсказывает опыт жизни русской крестьянской общины. Ведь община самоуправляема, а избираемая ею власть подотчетна крестьянскому миру. Регуляторы ее власти – контроль мира и личное чувство совести ее руководителей. Позор на миру – самое тяжкое наказание. При этом избранный староста или старшина – в то же время сельская полиция. Сделайте это устройство общероссийским, и крестьяне будут жить спокойно, а недоимок и задержек в государственных податях не будет, советует правительству Огарев.

В уезде, равно как и в более высоких территориальных административных единицах, должно быть выборное управление и суд, чью деятельность следует тщательно регламентировать законодательством. Конечно, несколько более сложную задачу представляет создание судов уголовных, но и эта задача в принципе решаема. Содержание школ, больниц, благотворительных учреждений и т. п. должно перестать быть делом правительственным и должно сделаться делом общественным. Что же до упраздняемой армии чиновничества, то волноваться о ее будущем не следует. Так же, как и с ямщиками после строительства железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург, с ними не случится ничего страшного: никто не умрет с голоду и все найдут работу.

Завершая статьи «Русские вопросы», Н.П. Огарев замечает: «Мы не намеревались писать устав нового устройства... Мы только хотели указать, отправляясь от обычая, путь к устройству, наиболее *народному*, основанному на выборном управлении»¹⁶, на принципах, лежащих в основе функционирования русской крестьянской общины.

¹⁵ Там же. С. 169.

¹⁶ Там же. С. 193.



Александр Иванович Герцен (1812–1870), с детских лет друг Огарева, в истории отечественной общественной мысли заслуженно носит имя основоположника теории «русского социализма» и народничества, которые он в полном смысле слова выстрадал всей своей судьбой. Уже через два года после окончания физико-математического факультета Московского университета за участие в кружке и проповедование мыслей, «не свойственных духу правительства», он был сослан, провел в изгнании более пяти лет и в 1847 году навсегда уехал за границу. Наблюдая буржуазные революции в Европе в 1848–1849 годах и их последующий крах, Герцен разочаровался в возможности практической реализации социалистических утопий, равно как и в способности науки верно предвидеть направление исторического движения. Он также перестает верить в перспективы социального переворота на Западе и полностью сосредоточивает свои надежды на России. В русской сельской общине мыслитель увидел зародыш социалистического будущего. При этом он полагал, что «человек будущего в России – мужик, точно так же, как во Франции работник»¹⁷.

Уже первые впечатления от знакомства с Западом выливаются у Герцена в нелюбимые суждения о новом социальном классе – буржуазии. По его мнению, «буржуазия не имеет великого прошедшего и никакой будущности. Она была минутно хороша как отрицание, как переход, как противоположность, как отстаивание себя. Ее сил стало на борьбу и на победу; но сладить с победою она не могла...» – констатирует он в «Письмах из Франции и Италии»¹⁸, написанных в 1847–1851 годах. И здесь же вывод-прозрение, которое будет обосновываться в дальнейшем: новый революционный класс – крестьянство. «В груди крестьянина собирается тяжелая буря. Он ничего не знает ни о тексте конституции, ни о разделении властей, но он мрачно поглядывает на богатого собственника, на нотариуса, на ростовщика; но он видит, что, сколько ни работай, барыш идет в другие руки, – и слушает работника. Когда он его дослушает и хорошенько поймет, с своей упорной твердостью хлебопашца, с своей основательной прочностью во всяком деле, тогда он сочтет свои силы – а потом сметет с лица земли старое общественное устройство. И это будет настоящая революция народных масс.

¹⁷ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. М.: 1966. С. 326.

¹⁸ Цит. по: Утопический социализм в России. М.: Изд-во полит. лит., 1985. С. 118.

Всего вероятнее, что действительная борьба богатого меньшинства и бедного большинства будет иметь характер резко коммунистический»¹⁹. Впрочем, до конкретной реализации такого рода крайних выводов в конце 40-х – начале 50-х годов было еще далеко, и пока Герцен в своей знаменитой работе «О развитии революционных идей в России» (1851) много внимания уделяет вопросам анализа и интерпретации исторического пути страны, а также образцам нарождающегося в ней национального самосознания, отраженного в том числе и в художественных текстах. Вот этот-то анализ с точки зрения обнаруживаемых в нем содержательных интерпретаций и оценок и представляет для нас первоочередной интерес.

В обществе, отмечает Герцен, протекают как бы два идущих навстречу друг другу процесса. С одной стороны, народ, все более явно пробуждающийся: «Русский народ дышит тяжелее, чем прежде, глядит печальней; несправедливость крепостничества и грабеж чиновников становятся для него все невыносимей. ... Значительно увеличилось число дел против поджигателей, участились убийства помещиков, крестьянские бунты. Огромное раскольничье население ропщет; эксплуатируемое и угнетаемое духовенством и полицией, оно весьма далеко от того, чтобы сплотиться, но порой в этих мертвых, недоступных для нас морях слышится смутный гул, предвещающий ужасные бури»²⁰. С другой стороны, прежде всего на мелкое и среднее дворянство усиливается влияние литературы, которая «не изменяет своему призванию и сохраняет либеральный и просветительский характер, насколько это удастся ей при цензуре»²¹ (выделено нами. – С.Н., В.Ф.).

Конечно, события 14 декабря 1825 года многое прояснили, равно как и многие иллюзии разрушили. И самое тяжелое открытие, как подчеркивает Герцен и что неоднократно впоследствии отмечали прежде всего его революционно настроенные последователи, – это обнаружившаяся пропасть между народом и его передовой частью. «... Народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом-то и состоял великий вопрос. Одни полагали, что нельзя ничего достигнуть, оставив Россию на буксире у Европы; они возлагали свои надежды не на будущее, а на возврат к прошлому. Другие видели в будущем лишь несчастье и разорение; они проклинали ублюдочную цивилизацию и безразличны ко всему народу. Глубокая печаль овладела душою всех мыслящих людей.

Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением»²².

Последующие размышления Герцена, касающиеся литературного творчества Полевого, Сенковского и Белинского, показывают, что именно слово и его работа с общественным сознанием тех слоев, которые слову внимали, и было содержанием работы, готовившей передовые слои к устранению «разрыва», но черед самого устранения еще не подошел.

Впрочем, для неподвзятых наблюдателей может показаться странной та большая роль, которая отводится Герценом русской литературе. Объяснение же этому феномену будущий революционер видит в очевидном для него факте: «В России все те, кто читают, ненавидят власть; все те, кто любят ее, не читают вовсе или читают только французские пустячки. От Пушкина – величайшей славы России – одно время отвернулись за приветствие, обращенное им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения. Гоголь, кумир русских читателей, мгновенно возбудил к себе глубочайшее презрение своей раболеп-

¹⁹ Там же. С. 121.

²⁰ Герцен А.И. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1986. Т. 2. С. 120.

²¹ Там же. С. 121.

²² Там же. С. 123.

ной брошюрой. Звезда Полевого померкла в тот день, когда он заключил союз с правительством. В России ренегату не прощают»²³.

Итак, как отмечает Герцен, в России несомненна особая роль литературы в среде мыслящей части общества, желающей перемен. Чем же объяснить этот особый феномен? На наш взгляд, одно из объяснений заключается в той особой географии, в которой живет русский человек. География велика, даже необъятна и, что несомненно, выполняла и выполняет особую разделяющую и разъединяющую людей роль. Ведь при российской географии не то что сговориться и начать совместные действия, но повидаться, чтобы поговорить и сговориться-определиться в согласованном, затруднительно, если не невозможно. Конечно, при отсутствии широких связей, устойчивых контактов и знакомств такую роль на себя, естественно, могла взять только литература. Именно через нее люди как бы договаривались между собой о содержании, смыслах и целях своих действий, жизненных приоритетах, о том, что важно и второстепенно для сущностного бытия. При этом писатели были не просто трансляторами (такую роль успешно выполняла «светская», салонная, модная литература), но творцами идемиургами формирующегося сознания, подлинными «властителями дум» читающей публики. Революционные стихи членов Северного и Южного обществ декабристов говорили их представителям никак не меньше (если не больше), чем составленные в обществах программы.

Собственно, такое понимание миссии русской литературы вполне, на наш взгляд, прочитывается и в текстах Герцена. Вот как он продолжает свое повествование в «Развитии революционных идей», говоря о первом письме Чаадаева: «...он желает знать, что мы покупаем такой ценой (ценой «скотского состояния». – *С.Н., В.Ф.*), чем мы заслужили свое положение; он анализирует это с неумолимой, приводящей в отчаяние пронизательностью, а закончив вивисекцию, с ужасом отворачивается, проклиная свою страну в ее прошлом, в ее настоящем и в ее будущем. Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой «лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы». Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет» ^[2].

Это подтверждает и судьба гениев русской литературы. Так, Гоголь, по мнению Герцена, передавший в своем раннем творчестве собственное радостное ощущение народной жизни, после переезда в среднюю Россию забывает создававшиеся ранее простодушные и грациозные образы. Он берется за изображение самых главных врагов народа – помещиков и чиновников, проникая при этом в самые сокровенные уголки их нечистой, зловредной души. «Мертвые души» – «история болезни, написанная рукою мастера. Поэзия Гоголя – это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо»²⁴. «Что же это, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человеческому, или умереть на заре своей жизни?»²⁵

И если русская поэзия, проза, искусство и история показали образование и развитие удушливой среды, нравов и власти, то никто не указал выхода. Но все же споры о новой жизни велись: в частности, в стране набирали силу дебаты европеизма с панславизмом. За первым направлением стояли люди, чьи представления были неотделимы от идей развития и свободы каждого человека, его превращения в личность, суверенную не только по отношению к общине или сословию, но к государству и церкви. Второе, напротив, образовывали те, кто привык, прикрываясь словами о «смирении» как высшей форме добродетели христианина, передоверять

²³ Там же. С. 128.

²⁴ Герцен А.И. Эстетика, критика, проблемы культуры. М.: Искусство, 1987. С. 259.

²⁵ Там же. С. 255.

личную свободу и ответственность государственно-самодержавному и церковному началу, что, естественно, вело к политическому и духовному рабству.

Будучи «европеистом», Герцен подробно анализирует идейно-теоретические воззрения славянофилов и делает это ясно и жестко. Вот некоторые из образчиков выводов такого рода: «...отрекшись от собственного разума и собственных знаний, устремились под сень креста греческой церкви»; в России восточная церковь «благословила и утвердила все меры, принятые против свободы народа. Она обучила царей византийскому деспотизму, она предписала народу слепое повиновение, даже когда его прикрепили к земле и сгибали под ярмо рабства»; «еще один век такого деспотизма, как теперь, и все хорошие качества русского народа исчезнут»²⁶. И в заключение как предостережение или даже приговор человеку, пойманному двойной сетью государства и церкви: «Долгое рабство – факт не случайный, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера. Эта особенность может быть поглощена, побеждена другими, но может победить и она. Если Россия способна примириться с существующим порядком вещей, то нет у нее впереди будущего, на которое мы возлагаем надежды. Если она и дальше будет следовать петербургскому курсу или вернется к московской традиции, то у нее не окажется иного пути, как ринуться на Европу, подобно орде, полуварварской, полуразрушенной, опустошить цивилизованные страны и погибнуть среди всеобщего разрушения»²⁷.

России для ее собственного блага, да и для сохранения Европы следует, говоря современным языком, цивилизоваться, окультуриться. А вот как это делать, для Герцена того периода его духовного развития был вопрос, до конца не решенный. И даваемый им в заключение работы «О развитии революционных идей...» ответ о социализме как «мосте», который соединит культурных людей России, будь они западники или славянофилы, звучит не конкретно, а скорее как знак или символ веры. Содержание он обретет позднее, и тогда-то, то есть в тот период, мы к нему и обратимся.

Итак, завершая краткое обращение к взглядам молодых Огарева и Герцена, можно заключить следующее. Воззрения их, демократические по сути, в ранний период творчества облекались в форму либерализма западнического толка. Что же касается линии, представленной революционным демократизмом Бакунина, то он последовательно развивался в анархизм и прямой революционаризм.

²⁶ Там же. С. 261–263, 269.

²⁷ Там же.



Михаил Александрович Бакунин (1814–1876), известный при жизни в силу своей революционной деятельности, а в XX столетии – благодаря включенности в революционную (не только большевистскую, но и мировую, в том числе маоистскую) традицию, был не только (и не столько) теоретиком, сколько революционером-практиком, проводившим большую часть своей жизни за границей, в гуще западноевропейских революционных событий. Достаточно сказать, что он был участником революционных выступлений в 1848 году в Германии и Австрии, в 1870 году – во французском Лионе, а затем, в 1871-м, – в Париже, в рядах коммунаров. За участие в революции 1848–1849 годов он дважды приговаривался к смертной казни европейскими судами и в конце концов в 1851 году правительством Австрии был выдан России, судим и сослан в Сибирь, из которой бежал только в 1861 году. В написанном в 1860 году, незадолго до побега, письме в адрес А.И. Герцена Бакунин подтверждает неизменность своих жизненных и теоретико-политических воззрений: «Ты хоронил меня, но я воскрес, слава богу, живой, а не мертвый, исполненный тою же страстною любовью к свободе, к логике, к справедливости, которая составляла и поныне составляет весь смысл моей жизни»²⁸.

Концентрированное изложение своих взглядов по философским, социально-политическим и революционно-практическим вопросам в полном объеме Бакунин осуществил в сочинении «Федерализм, социализм и антитеологизм», написанном в 1867 году. Столь многостороннее исследование было необходимо в связи с учреждавшейся в это время в Женеве на I Конгрессе Мира Лиги Мира и Свободы, ставившей перед собой цель преобразования всех государств на принципах демократии и свободы. В этой связи первой задачей считалось образование Соединенных Штатов Европы.

Конечно, в нынешнем виде европейские государства не могли быть консолидированы в единое целое не только в силу огромной разницы сил каждого из них, но и по причине их монархической природы, равно как и присущей им централизации, наличной государственной бюрократии и военщины. Наличествующие у некоторых из них конституции свидетельствуют о постоянном замаскированном призыве к внешней или внутренней агрессии. То есть приверженцам создаваемой Лиги предстояло предпринять усилия, чтобы заменить старую их органи-

²⁸ *Бакунин М.А.* Избранные философские сочинения и письма. М.: Мысль, 1987. С. 255.

зацию, основанную на насилии и авторитаризме, новой, «не имеющей иного основания, кроме интересов, потребностей и естественных влечений населения, ни иного принципа, помимо свободной федерации индивидов в коммуны, коммун в провинции, провинций в нации, наконец, этих последних в Соединенные Штаты сперва Европы, а затем всего мира»²⁹.

Реальное положение народов европейских стран, отмечает Бакунин, таково, что везде четко просматривается деление на «политические» и «рабочие» классы. Первые обладают собственностью на земли и капиталы, в то время как последние этими богатствами обделены. Труд должен быть «отдан» то, что ему по справедливости принадлежит. И сделать это можно лишь на основе изменения положения в сфере собственности и капитала.

Правда, делает оговорку революционер, эти кардинальные меры приведут к разным результатам в отношении городских и сельских работников. В сравнении с горожанином «земледелец гораздо более благополучен: его натура, не испорченная душной и зачастую отравленной атмосферой заводов и фабрик, не изуродованная аномальным развитием одной какой-нибудь способности во вред другим, остается более сильной, более цельной, но зато его ум – почти всегда более отсталым, неповоротливым и гораздо менее развитым, чем ум фабричных и городских рабочих»³⁰.

Однако если сравнить «потенциал» привилегированного класса и класса обездоленных, то последние обладают рядом таких качеств, которые нельзя найти у собственников. Это – «свежесть ума и сердца»; более правильное «чувство справедливости», чем «справедливость юристконсультов и кодексов»; сочувствие другим несчастным; «здравый смысл, не испорченный софизмами доктринерской науки и обманами политики» и др. Народ, полагает Бакунин, уже понял, что первым условием его «очеловечения» является коренная реформа экономических условий, произведенная путем «радикального преобразования современного устройства общества», а из этого логически вытекает необходимость революции и социализма.

Однако социализм не вытекает из революции автоматически. История показывает, что социалистические идеи впервые возникают в теоретической сфере, а из революционной практики следует республиканизм. Возникший в теории социализм существовал в двух формах: в форме доктринерского и революционного социализма. Пример доктринерского социализма – учения Сен-Симона и Фурье, а революционного социализма – концепции Каабе и Луи Блана. Заслуга этих двух социалистических систем состоит в том, что они, во-первых, подвергли строгой критике современное устройство общества и, во-вторых, столь яростно нападали на христианство, что расшатали его догматы и восстановили в правах человека с присущими ему страстями.

Вместе с тем их ошибкой была уверенность в том, что добиться изменения положения вещей можно «силой убеждения», направленной против богатых, а социалистический порядок возникнет не в результате активности масс, а как утверждение на земле теоретической доктрины. Обе системы «питали общую страсть к регламентации», «были одержимы страстью поучать и устраивать будущее», и потому обе были авторитарными³¹.

Республиканизм, в отличие от социализма, естественным образом вытекал из революционной практики, прежде всего из практики Великой французской революции. При этом политический республиканец должен был ставить и ставил интересы своего отечества выше не только себя самого, но и международной справедливости и потому рано или поздно оказывался завоевателем. Для республиканца свобода – пустой звук. Это всего лишь свободный выбор быть добровольным рабом государства, и потому он неизбежно приходит к деспотизму.

²⁹ Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М.: Правда, 1989. С. 19.

³⁰ Там же. С. 27.

³¹ Там же. С. 31.

Социалист же превыше всего ставит справедливость (равенство), посредством которого он служит всему обществу, а не только государству. Поэтому он «умеренно патриотичен, но зато всегда человечен».

И наконец, заключительная, третья часть работы «Федерализм, социализм и антитеологизм» посвящена манифестации взглядов ее автора по религиозному вопросу. Вера для М.А. Бакунина является синонимом порабощения. «...Всякий, кто хочет поклоняться Богу, должен отказаться от свободы и достоинства человека.

Бог существует, значит, человек – раб.

Человек разумен, справедлив, свободен, – значит, Бога нет»³².

Религия, по Бакунину, деморализует народ. В его перечне проистекающих из религии зол – «убийство» разума, трудовой энергии, производительной силы, чувства справедливости, самой человечности. Религия основана на крови и живет кровью.

В известном смысле логическим продолжением книги «Федерализм, социализм и антитеологизм» являлась вышедшая в Женеве в 1868 году работа «Наука и народ». Работа эта интересна в том числе и потому, что содержит в себе адресацию к исследуемой нами позднее в романах И.А. Гончарова проблеме сердца и разума. Так, у Бакунина имеется трактовка разума как такового. Вот она. Констатируя доставшееся современным ему мыслителям от прошлого «раздвоение» действительности на мир «физический» и «духовный», Бакунин заявляет о преодолении такового. Основанием для этого, согласно его видению, стало знание о «физиологическом происхождении всей нашей умственной деятельности»³³. В этой связи отныне мир должен пониматься только как единый, а наука трактоваться как единственное средство его познания. Метафизику же и отвлеченные умопостроения следует отбросить, включая понятия о Боге, равно как и все связанное с Ним. Он пишет: «...чтобы окончательно освободить человека, надо положить конец его внутреннему раздвоению – надо изгнать бога не только из науки, но и из самой жизни; не только положительное знание и разумная мысль человека, но и воображение и чувство его должны быть избавлены от привидений небесных. Кто верит в бога, тот ...обречен на неминуемое и безвыходное рабство»³⁴.

В истории философии, согласно Бакунину, решающий удар по ошибочным воззрениям признававшего действительность метафизики И. Канта был нанесен Л. Фейербахом. Именно он, а вслед за ним и основатели «новой школы» – Бюхнер, Фохт, Молешотт сделали во всем мире, и в России в том числе, «апостолами революционной науки», которая разрушила все преграды религии и метафизики и открыла людям пути к свободе. Прошлое признание человечеством бога, бессмертия души и, вслед за этим, богопоставленного государства и царей с их деспотизмом и полицейской властью, было отброшено. Таким образом, «уничтожая в народе веру в небесный мир, они готовят свободу земного»³⁵.

Но кто будет субъектом знания и народного просвещения? В России со времен Екатерины II бродила идея создания народных школ. Поддерживали ее даже некоторые дворяне. Но возможно и допустимо ли такое действие со стороны правительства? Екатерина II, без сомнения, умнейшая из потомков Петра, писала одному из своих губернаторов, который, поверив ее обычным фразам о необходимости народного просвещения, поднес ей проект об установлении школ для народа: «Дурак! Все эти фразы пригодны, чтобы морочить западных болтунов; ты же знать должен, что, *коль скоро народ наш станет грамотным, ни ты, ни я не останемся на своих местах*»³⁶.

³² Там же. С. 44.

³³ Там же. С. 125.

³⁴ Там же. С. 126–127.

³⁵ Там же. С. 131.

³⁶ Там же. С. 139.

Поскольку эта позиция правительства сохраняется до сих пор, резюмирует Бакунин, «путь освобождения народа посредством науки и для нас загражден; нам остается поэтому только один путь, путь революции. Пусть освободится сперва наш народ, и, когда он будет свободен, он сам захочет и сумеет всему научиться. Наше же дело приготовить всенародное восстание путем пропаганды»³⁷.

Так мыслил русского человека, крестьянина прежде всего, и его роль в общественном развитии один из основателей революционного движения. Таким видел он путь освобождения русского земледельца. И то, что эти идеи постепенно начали проявляться в художественном сознании, всесторонне обдумываться в нем в форме сюжетных линий и образов, покажет нам анализ тех литературных произведений, которые мы намерены рассмотреть далее.

³⁷ Там же. С. 141.

II. Отечественная литература и литературно-критическая мысль 40–60-х годов XIX столетия и проблематика русского мировоззрения

Предлагающийся для дальнейшего анализа цикл из шести романов автора «Записок охотника» несколько нарушает уже сложившийся в рамках нашего исследования метод рассмотрения проблем. Во-первых, имевшийся прежде сугубо земледельческий контекст обсуждения существенно расширяется: действие разворачивается не только в деревне, но и в городе, в том числе за границей, а деревня и усадьба в этом случае отодвигаются на второй план. Во-вторых, центральной фигурой вместо крестьянина и помещика становится новый, как правило, молодой человек, причем не только потомственный помещик, но часто и разночинец, маргинал. Это, безусловно, приводит к смещению авторского внимания, к известному расширению содержания обсуждающихся проблем. Принципиально важным при этом, однако, остается вопрос: означает ли все это, что размышления Тургенева о миропонимании, мирознании и мировоззрении русского земледельца прерываются? Думаем, нет. Благодаря новому ракурсу они возвышаются до обсуждения проблем русского мировоззрения.

Глава 2. Возможно ли в России позитивное дело: романное творчество И.С. Тургенева



«Записками охотника» и в особенности циклом из шести романов³⁸ *И.С. Тургенев* первым в русской литературе начал систематически проводить исследовательскую линию, которая в конечном счете позволила получить развернутые ответы на вопросы, имеющие решающее значение для исторической судьбы страны и давно волновавшие мыслящих людей: как возможно позитивное преобразование российской действительности ^[3] и «когда в России появятся настоящие люди»³⁹. При этом имелись в виду все стороны русского общественно-политического уклада – социально-политическая, хозяйственно-экономическая и культурно-нравственная. Остановимся на этих темах подробнее.

В вопросе о позитивном преобразовании, прочитываемом нами в прозе Тургенева, следовало бы прежде всего уточнить: о каких возможных изменениях предполагается говорить? Ведь в социально-политическом смысле к середине XIX века их набор уже был достаточно широк – от легко прочитываемых в тексте бунтовщических призывов А.Н. Радищева, в том числе и «к топору», до тайных заговоров декабристских обществ с их идеями ограничения власти царя посредством учреждения парламента и принудительного перехода к конституционной монархии с обращением к опыту европейских революционных прецедентов, нередко сопровождавшихся казнями монархов ^[4].

В размышлениях о том, как жить дальше, следует дать толкование не менее амбивалентного термина «преобразование». Очевидно, что ответы, формулируемые, например, западниками и славянофилами, подразумевали бы нечто совершенно различное. И если в чем и сходились представители этих основных течений русской философской мысли, так это в их неприятии крепостнического строя. Именно его уничтожение и было, пожалуй, единственным,

³⁸ «Рудин» (1855), «Дворянское гнездо» (1858), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1861), «Дым» (1867) и «Новь» (1876).

³⁹ Напомним, что этот вопрос прямо формулируется Тургеневым в романе «Накануне», причем в устах персонажей, ведущих философскую линию произведения, – Шубина и Увара Ивановича, о чем подробно мы будем говорить далее.

что считалось бесспорным обеими сторонами, имея в виду «позитивное преобразование». Но далее, как мы увидим из содержания анализируемых литературных и философских текстов, единство в толковании позитивного исчезало и почти каждый мыслитель искал и находил собственные содержательные смыслы, которыми наполнял это слово.

Однако в какой мере этот вопрос был характерен именно для земледельцев, то есть тех, чье мировоззрение мы и стремимся сделать целью исследования, равно как и для русского мировоззрения в целом? Здесь мы должны отметить, что поиски ответа на этот, как мы полагаем, фундаментальный вопрос русской жизни, естественно, не могли ограничиваться и не ограничивались лишь кругом людей, имевших непосредственное отношение к занятиям земледельческим трудом. В силу этого анализ мировоззрения тех, кто к аграрной сфере имел опосредованное отношение, по ряду причин нам также представляется необходимым. Во-первых, почти все те, кто впрямую не мог быть отнесен к сословию земледельцев, рождением, воспитанием или родством были связаны с российской деревенской средой, что означало, что в той или иной мере они выражали строй основных мыслей ее коренных представителей.

Во-вторых, рассуждая о связи вопроса о позитивных преобразованиях с жизнью людей, занятых аграрной практикой, необходимо отметить, что производимый деревней продукт в России того времени, пока еще глубоко не затронутой капиталистическими, в первую очередь индустриальными, преобразованиями, продолжал быть центральной доходной статьёй ее национального бюджета, основой благосостояния огромного большинства населения. Уже этот факт значимости аграрного труда оказывал влияние на умонастроение всего общества, в том числе и на его мыслящую элиту.

Вопрос о крестьянстве и помещиках, об уничтожении или сохранении крепостного права, равно как и о путях дальнейшего развития деревни после состоявшейся отмены крепостничества, продолжал оставаться центральным в раздумьях людей разных социальных слоев о судьбе родины, о ее позитивном переустройстве в том числе ^[51].

И наконец, в-третьих, проблематика тургеневских романов, к рассмотрению которых мы теперь переходим, имела отношение к теме мировоззрения русского земледельца и потому, что в значительной мере касалась вопросов о методах позитивных преобразований в России, характере и качествах «новых» людей, выходцах из земледельческого сословия. То, что именно новые герои русской литературы в качестве своего главного предмета деятельности будут иметь помещичье-крестьянскую среду, позволяет утверждать, что основная проблематика шести тургеневских романов напрямую связана с исследуемой нами темой.

Сделав эти предварительные замечания, обратимся к текстам романов И.С. Тургенева.

* * *

История Дмитрия Рудина, главного героя одноименного тургеневского романа, – первое в русской классической литературе полномасштабное исследование проблемы не просто «лишнего» человека, но человека, который целенаправленно искал, но так и не нашел для себя ни содержательного профессионального занятия, ни приемлемых условий для жизни вообще. Главное внимание автора сосредоточено именно на тех личностных характеристиках и качествах героя, которые и сделали саму его жизнь несостоявшейся. (Примечательно, что гибнет Рудин на чужбине, на парижской баррикаде среди восставших, которые не только не знали его имени, но и вовсе считали поляком.) В этом контексте (несостоявшейся жизни) мы вместе с Рудиным проживаем значительный отрезок его бытия, а о других, не менее важных его жизненных событиях узнаем в подробных изложениях автора и иных персонажей произведения.

Сказав, что Рудин – лишний человек, и лишний именно в силу личностных качеств, мы должны хотя бы в первом приближении сопоставить его «лишность» с другими национальными персонажами – «лишними людьми» русской литературы, равно как и с другими героями

романа. Так, вынужденно схематизируя, мы полагаем, что не только в силу личностных характеристик, но и по причине неблагоприятных для героев внешних обстоятельств «лишними» были несостоявшийся государственный чиновник Чацкий, неудавшийся помещик и семьянин Онегин, утративший интерес к жизни офицер Печорин, да и гоголевский горе-предприниматель Чичиков как одна из первых незаладившихся российских фигур новой, капиталистической эпохи.

В отличие от перечисленных «лишних» героев Рудин, в трактовке Тургенева, с первого его появления среди персонажей романа оказывается «лишним» именно из-за катастрофического отсутствия у него собственного занятия – дела. Вспомним начало романа. Помещицу Александру Павловну Липину мы застаем исполняющей одну из ее постоянных функций призора – посещающей больную крестьянку. Возникающий тут же другой персонаж – Михаил Михайлович Лежнев – едет по своим хозяйственным, хлебно-зерновым делам, которыми занят настолько, что и сам, кажется, похож на мучной мешок. Встретившийся Липиной Константин Диомидыч Пандалевский тоже не без дела – выполняет непростые обязанности информатора, развлекателя и прихлебателя-затейника при капризной помещице Ласунской. А уж брат Липиной – Волынец, управляющий ее имением, и вовсе надзирает в поле, где сеют гречиху.

В этом же ключе – отношения к делу – разворачивается и первый разговор, в котором Тургенев представляет нам Рудина. Напомним, что речь идет о статье друга Дмитрия Николаевича – Муффеля, в которой, как формулирует Рудин, есть «факты и убеждения». Заостряя внимание читателя, Тургенев прямо вкладывает в уста оппонента Рудина – спорщика-забияки Пигасова – главный предмет дальнейшего сюжета романа. В споре Рудин отстаивает важность «убеждений», «знания основных законов, начал жизни», без чего «нет почвы, на которой он (человек. – С.Н., В.Ф.) стоит твердо» и, стало быть, нет и самого дела. Пигасов же, как бы встраиваясь в общую череду героев, занятых, в противоположность Рудину, делом, настаивает: я практический человек, мне факты подавай⁴⁰. Примечателен финал спора, завершить который достается Пигасову. В ответ на слова Рудина о «почве» Пигасов отвечает: «Честь и место!», тем самым как бы обозначая читателю главную тему произведения – о том, найдется ли для Рудина место на родной русской почве и будет ли его дело достойным чести. В данном несогласовании Рудина с позицией негативно-комедийного персонажа тем не менее скрыта, пожалуй, центральная авторская идея, на которой держится вся концепция романа: герой не только не имеет «дела жизни», которое есть у других персонажей, но и в принципе не способен к нему.

В дополнение к сказанному сообщим и еще об одном нашем наблюдении в связи с важным для Рудина понятием «почвы». Симптоматично, что она, «почва», будучи заявлена им как состоящая из убеждений, знания общих законов и начал бытия, в итоге, по его же свидетельству, оказывается ничем или, по крайней мере, чем-то явно недостаточным для полноценной жизни. В финале романа, в итоговом, в том числе и подводящем итоги жизни разговоре Рудина с Лежневым, Рудин признается: «Строить я никогда ничего не умел; да и мудро, брат, строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится собственный свой фундамент создавать!»⁴¹ В этом признании, отметим, наряду с критической самооценкой значительна и оправдательная компонента: не было (не получено по наследству) фундамента и тем самым как бы уменьшается собственная ответственность.

Впрочем, данное замечание, требующее обширных доказательств, подробно будет раскрыто нами в дальнейшем, по мере анализа центральных героев других произведений Тургенева и, в частности, Базарова в романе «Отцы и дети»⁴². Теперь же отметим, что наша точка

⁴⁰ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 2. С. 28–31.

⁴¹ Там же. С. 117.

⁴² То, что Рудин – один из ответов Тургенева на вопрос о том, можно ли и каким образом можно делать дело в России, указывает, на наш взгляд, и его некоторое сходство с разночинцем Базаровым: даже внешне они похожи, в том числе у обоих руки «велики и красны», как замечает о Рудине Волынец.

зрения вновь отлична от позиции литературоведа А. Ботюто и некоторых других исследователей, которые полагали, что Тургенев изображает Рудина «без вины виноватым». «Инициатива его подавлена именно обстоятельствами. Она гаснет в обессиливающей атмосфере тупости, инертности, казенного бессердечия и затхлой бездуховности, царящих в матеро-косной дворянско-помещичьей и чиновно-бюрократической среде»⁴³.

Кстати, эта литературоведческая позиция – не «новодел» советского времени. Свое начало она ведет от революционного демократа Н.А. Добролюбова, который, отвечая на вопрос, отчего в России невозможно появление русского Инсарова, главный упор делал на порядок русской жизни, ориентированный на «самодовольство и сонный покой», который, как он полагал, нельзя «прошибить» «постепенством» малых дел, и – не договаривал, но угадывалось – необходимо было приближать время дел решительно-революционных⁴⁴.

Думается, что как минимум это не совсем так, то есть не во всем следует винить только «среду». Вспомним хотя бы одно из заключительных «предприятий» Рудина в связи с «превращением одной реки К...й губернии в судоходную». «...Мы наняли работников... ну, и приступили. Но тут встретились различные препятствия. Во-первых, владельцы мельниц никак не хотели понять нас, да сверх того мы с водой без машины справиться не могли, а на машину не хватило денег»⁴⁵. В известной мере столь же несерьезным практическим расчетом отличаются и другие начинания Рудина.

Еще более надуманной кажется и оценка Рудина как представителя «передовой русской интеллигенции XIX века, той интеллигенции, которая, постоянно вступая в конфликтные отношения с косной и враждебной ей дворянско-крепостнической средой, *настойчиво искала контакта с народом*»⁴⁶ (выделено нами. – С.Н., В.Ф.). Контакта такого зачастую в принципе не могло быть, поскольку значительная часть российской словесности развивалась в русле провозглашенного правительством культурного курса на «православие, самодержавие, народность». Поэтому, как писал об этой части литературы В.Г. Белинский, «литература наша... делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по-матерну»⁴⁷.

В нашей оценке образа Рудина как «человека без дела», отчего он и терпит жизненное фиаско, мы расходимся и с позицией известного литературоведа Ю.В. Лебедева. Так, в трактовке начала романа, который, по нашему мнению, задает абрис главной темы «дела – безделья», у Лебедева совсем иное видение: «Рудин» открывается контрастным изображением нищей деревни и дворянской усадьбы. Одна утопает в море цветущей ржи, другая омывается волнами русской реки. В одной – разорение и нищета, в другой – праздность и призрачность жизненных интересов. Причем невзгоды и беды «забытой деревни» прямо связаны с образом жизни хозяев дворянских гнезд»⁴⁸. Такой социально-политический окрас необходим Лебедеву для того, чтобы подтвердить, как он полагает, важность для Тургенева темы «призрачности существования состоятельного дворянства».

Верно, такая краска присутствует в палитре тургеневского творчества, что доказывается уже одним тем, что все происходящее в романе оценивается с народных позиций, за которыми угадывается сам автор. Вместе с тем у Тургенева, о чем пишут другие исследователи, в том числе и известный французский ученый Анри Труайя, никогда не было устремлений револю-

⁴³ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 2. С. 293–294.

⁴⁴ Добролюбов Н.А. Избранное. М.: Правда, 1985. С. 378.

⁴⁵ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 2. С. 120.

⁴⁶ Там же. С. 300.

⁴⁷ Белинский В.Г. Цит. по: Прокофьев В. Герцен. ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 1987. С. 184.

⁴⁸ Лебедев Ю. Жизнь Тургенева. Всеведущее одиночество гения. М.: Центрполиграф, 2006. С. 301.

ционно-демократического свойства, тем более в форме «контрастного» изображения – противопоставления. Свидетельством тому и его знаменитые идейные расхождения с людьми добролюбовского типа.

Тургеневу, на наш взгляд, прежде всего занимает вопрос о возможности позитивного дела в реальных условиях современной ему России, совершать которое, как он полагает, должны не одни только разночинцы. Отсюда его исследовательский анализ разных социальных типов из дворянской среды, а также героев – маргиналов, «полукровок», возникших в результате сближения дворянства с народом, каким был, например, один из героев «Нови» – Нежданов. Эта позиция находит подтверждение и известным фактом поисков прообраза для главного героя. Так, по свидетельству историков литературы, в Рудине угадываются черты известного революционера М. Бакунина. Что же касается его антипода по реальной жизни и хозяйственной практике, то в образе либерала-постепенца Лежнева, делавшего упор на реформирование, а не на революционную ломку, мы угадываем черты самого автора романа.

Мы не можем принять и лебедевское толкование о недостаточной цельности героя, якобы свойственной европейской цивилизации вообще (вот так, не больше и не меньше. – С.Н., В.Ф.), в которой «рациональный, умозрительный элемент развивается в ущерб непосредственным и неразложимым сердечным движениям. Самодовольный и самодовлеющий ум уничтожает полноту восприятия мира в его многоцветности, в его божественной гармонии»⁴⁹. Впрочем, продолжает Лебедев, «мы чувствуем, что не все погублено в душе Рудина холодным аналитическим умом, что он способен подняться над собой, вступить в борьбу со своими недугами». И в качестве примера такого порыва Лебедев указывает на «речной» проект Рудина, а также на его попытку в одиночку перестроить всю систему гимназического образования⁵⁰.

Отстаиваемое Лебедевым удивительно и странно прежде всего потому, что компетентный исследователь не замечает тургеневской иронии и всерьез приводит эти примеры как контрдоводы против «чрезмерного рационализма» европейской цивилизации. Интересно, что по поводу этих проектов сказали бы гоголевские Костанжогло или Муразов, чеховский Варламов, не говоря уже о гончаровском Штольце. Впрочем, в этом предположении мы «хватали через край»: «немец» ведь русскому не указ!

Сказанное никак не меняет нашего мнения о том, что фигура Рудина совсем не одномерна и в созданной Тургеневым галерее образов, посредством которых он ищет ответ на вопрос о позитивном преобразовании России, у нее есть собственное место. В этой связи безусловно прав был А.Н. Некрасов, отмечавший, что Тургенев изображает «людей, стоящих еще недавно в главе умственного и жизненного движения, постепенно охватывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более значительный круг в лучшей и наиболее свежей части нашего общества. Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны»⁵¹.

Отметив это, перейдем к более детальному рассмотрению образа Дмитрия Николаевича Рудина, видя в нем одно из многочисленных проявлений русского дворянина, корнями и местом обитания связанного с земледельческим бытием России, но трагически не находящего применения своим умственным и духовным устремлениям на родной земле.

Отчего так? В этой связи в первую очередь следует указать на то обстоятельство, что подлинное культурно-духовное становление Рудина относится не к бездельному деревенскому отрочеству, а к его юношескому пребыванию за границей, в Германии. То есть обусловленная тамошним его студенческим бытием жизнь в замкнутом корпоративном кружке, члены которого и одевались, и стригли волосы по-своему, одним словом, отделенность не только от рус-

⁴⁹ Там же. С. 303.

⁵⁰ Там же. С. 304–305.

⁵¹ Некрасов А.Н. Полное собрание сочинений и писем. Т. IX. М.: Гослитиздат, 1952. С. 389.

ской почвы, но и от народной немецкой почвы, сделала Рудина для России чужаком. Только в тридцать пять лет он появляется на родине, в «деревенском салоне» помещицы Дарьи Михайловны Ласунской. Со многими персонажами галереи тургеневских героев Рудина роднит и то, что в России он – «пришелец», как «возвращенец» Лаврецкий, как «временный иммигрант» Инсаров.

Чем он может оказаться полезен окружающим его людям, а судя по его амбициям, и стране? У Рудина сам Тургенев находит лишь один, но главный, талант. Вот как он о нем пишет: начав с конкретных историй, он вскоре перешел «к общим рассуждениям о значении просвещения и науки, об университетах и жизни университетской вообще. Широкими и смелыми чертами набросал он громадную картину. Все слушали его с глубоким вниманием. Он говорил мастерски, увлекательно, *не совсем ясно*... (Здесь и далее выделено нами. – С.Н., В.Ф.) Но сама эта неясность придавала особенную прелесть его речам... Не самодовольной изысканностью опытного говоруна дышала его нетерпеливая импровизация. ... Рудин владел едва ли не высшей тайной – музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель, пожалуй, и *не понимал в точности, о чем шла речь*; но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди.

Все мысли Рудина казались обращенными в будущее; это придавало им что-то стремительное и молодое...»⁵²

Кто же может быть рациональным и, более того, деятельным адресатом рудинских речей? По характеристике, данной хозяйкой «салона», таковых в округе почти что и нет. Единственный, пожалуй, умный и дельный человек – прежний знакомец Рудина – Лежнев. Да и тот в этой компании некстати. Он дичится ее, и компания к нему не благоволит. Примечательна сцена продажи Дарьей Михайловной Лежневу небольшого участка земли. Решить дело приезжает сам Лежнев. Но при этом он столь, по словам помещицы, «нелюбезен», что Дарья Михайловна даже колеблется, продавать ли ему землю:

«– Признаться, вы так нелюбезны... мне бы следовало отказать вам.

– Да ведь это размежевание гораздо выгоднее для вас, чем для меня.

Дарья Михайловна пожала плечами»⁵³.

Кроме отсутствия деловой среды, которая, как полагает Рудин, могла бы стать для него питательной почвой, он знает и о собственных пороках безделья и лени. В разговоре с молодой героиней романа Натальей он «прекрасно и убедительно» рассуждает «о позоре малодушия и лени, о необходимости делать дело. (Не здесь ли, в романе Тургенева, впервые раздается стон, затем почти столетия издаваемый огромной частью русской интеллигенции о «необходимости работать» и достигший своего верхнего «до» в чеховских драмах начала XX века? – С.Н., В.Ф.) Он осыпал самого себя упреками, доказывал, что рассуждать наперед о том, что хочешь сделать, так же вредно, как накалывать булавкой наливающийся плод, что это только напрасная трата сил и соков»⁵⁴. В общем, Рудину свойствен традиционный порок русского интеллигента – любовь к фразам и словам.

О том, что это так, можно достоверно судить по аттестациям Лежнева, давнишнего, еще со студенческих лет, товарища Рудина. От него мы узнаем, что Дмитрий Николаевич, несмотря на свои высокие понятия, изрядный эгоист, в свое время между прочим даже не проявивший благодарственных сыновних чувств по отношению к бедной матери-помещице, все отдавшей ради своего Митеньки. Что он «пуст и нечестен», так как сам знает ничтожную цену своих слов и что слова его никогда не становятся поступками.

⁵² Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Художественная литература, 1976. Т.2. С. 36.

⁵³ Там же. С. 44.

⁵⁴ Там же. С. 49.

Между тем в доме Дарьи Михайловны, отмечает автор, он скоро сделался негласным господином, распорядку и капризам которого, с благословения хозяйки, все подчинялись: «Все в доме Дарьи Михайловны покорялись прихоти Рудина; малейшие желания его исполнялись. Порядок дневных занятий от него зависел»⁵⁵. Впрочем, сколько-нибудь содержательных дел не было никаких, и, как водится, этот начинающий стареть джентльмен от нечего делать начал кружить голову молоденькой девушке.

При этом любовь – огромное созидательное чувство, как это чаще всего было у Тургенева, – оказывается по силам лишь женщине. Рудин и в этом проявлении лишь мелочно-болтлив. Готовая скорее на смерть, чем на разлуку с любимым человеком, Наталья встречает со стороны Рудина только трусливую слабость: надо покориться материнской воле, отвечает герой. У вас «от слова до дела еще далеко», – слышит Рудин Натальин приговор. А один из прихлебателей помещицы по поводу случившегося в сердцах восклицает: «Как это не знать своего места, удивляюсь!» Думается, он не прав: Рудин свое место знает, и знает, кстати, что оно пусто и заполнить ему его нечем.

Следует отметить, что в этой трактовке поведения Рудина мы также расходимся с Ю. Лебедевым, который полагает, что в данном отказе Рудин скорее проявляет благородство, что он, «наконец», осознает, что «Наталья приняла его не за того человека, каков он на самом деле. Рудин прекрасно чувствует свои собственные слабости, свою способность быстро увлекаться и гаснуть...»⁵⁶ Представляется, что это некоторая интерпретаторская передержка. То, что Рудин не умеет в процессе увлекшего его действия или чувства «перестраиваться», Тургенев показывает неоднократно. Так, не происходит осознания и перестройки жизни Рудина у Ласунской (так и хочется сказать «при дворе»). Не простраивает и не осознает Рудин простых практических вещей – хоть все с той же машиной, которой еще нет, а реку уже перегораживать начали. Не осознает Рудин, взобравшись на университетскую кафедру, что материала для лекции у него всего на двадцать минут, но все ж пускается в витийства. То есть нет у нас тургеневских свидетельств о рудинской способности адекватного осознания реальности.

Еще до того как наступает реальная развязка, Рудин провидчески говорит о ней Наталье в прощальном письме: «Странная, почти комическая моя судьба: я отдаюсь весь, с жадностью, вполне – и не могу отжаться. (Такова структура рудинского мысленно-чувственного движения, в котором ни для какой остановки, осознания, переосмысления места нет. Выделено здесь и далее нами. – С.Н., В.Ф.) Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду... Увы! Если б я мог ...победить наконец свою лень...»⁵⁷ (Не так ли и случается на самом деле, когда Рудин гибнет на баррикаде? И хотя революция вздором не была, но то, что Рудин в нее мало верил, вполне вероятно. – С.Н., В.Ф.)

Впрочем, суждение Тургенева не однозначно. Едва начинающая намечаться в романе фигура действительно позитивного героя, делового человека и хозяина Михаила Михайловича Лежнева (тип этот, кстати, чем дальше, тем больше будет набирать силу и в творчестве Тургенева, и вообще в русской литературе. – С.Н., В.Ф.), при всей ее ценностной ориентированности на дело, тем не менее не зачисляет Рудина в разряд абсолютно никчемных людей. В заключительной беседе он резюмирует: «Я хочу говорить о том, что в нем есть хорошего, редкого. В нем есть энтузиазм; а это, поверьте мне, флегматическому человеку, самое драгоценное качество в наше время. ...Он не сделает сам ничего именно потому, что в нем природы, крови нет; но кто вправе сказать, что он не принесет, не принес уже пользы? что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему, в силе деятельности, в умении исполнять собственные замыслы? ...Несчастье Рудина состоит в том, что он

⁵⁵ Там же. С. 54.

⁵⁶ Лебедев Ю. Цит. соч. С. 304.

⁵⁷ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 2. С. 99–100.

России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится!»⁵⁸

Если бы только в незнании страны было дело! Впрочем, не будем предварять анализ выводами.

* * *

Новым поворотом темы о возможности позитивного преобразования русской жизни и о том, когда же в России наконец появятся «настоящие люди», стал написанный вслед за «Рудиным» (в 1858 году) роман «Дворянское гнездо»^[6]. Преемственность между этими произведениями, на наш взгляд, несомненна и вовсе не сводится, как на это указывают многие литературоведы советского периода, к тому, что их главные герои – «лишние люди».

На наш взгляд, как раз напротив. Если, так сказать, конструктивный вклад, сделанный жизнью Дмитрия Рудина в глобальную историческую задачу позитивного переустройства России состоял, по оценке Лежнева (которому у нас, читателей, нет оснований не доверять), в том, что его слова «заронили много добрых семян», отозвались во многих молодых высоких душах, то образом Федора Ивановича Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенев открыл в русской литературе новую тему – частной жизни отнюдь не лишнего, а «уместного», органично участвующего в общем течении жизни и необходимого на своем месте, образованного, рационального, нравственного и к тому же хозяйственно успешного человека.

Еще раз отметим неслучайность объединяющих героев первых двух романов (Рудин и Лаврецкий) черту – их выученность за границей. Позже к ним по своему иноземному происхождению примкнет и герой романа «Накануне» болгарин Инсаров.

Впрочем, об отмеченной нами характеристике Лаврецкого – его хозяйственной успешности – мы можем судить лишь по немногим косвенным признакам, но зато располагаем совсем не случайным, а, напротив, прямым, подводящим итоги жизни героя, приведенным в конце романа замечанием Тургенева на этот счет. Спустя много лет, оказавшись на руинах так и не состоявшегося личного счастья, Лаврецкий, по крайней мере в одном отношении «имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян»⁵⁹. Согласимся, что даже без раскрытия конкретных фактов этой успешности, такое признание автора дорогого стоит, освобождает Лаврецкого от ярлыка еще одного «лишнего» в России человека, поднимает в наших глазах.

Вместе с тем, переходя к дальнейшему рассмотрению главных романских произведений Тургенева, необходимо сделать одно замечание, относящееся к существу нашей исследовательской темы. Анализ Тургеневым в романах лично-нравственных проблем, переживаемых героями, имеющих к тому же не всегда прямую связь с аграрной деятельностью, требует от нас пояснений в связи с темой мировоззрения земледельца.

Действительно, в этих произведениях не часто можно найти прямые выходы на выделенные нами для анализа темы содержания мировоззрения земледельца – его связей с природой, общиной, семьей, усадьбой, городом, религией, правом и т. д. Однако все же анализ мировоззрения персонажей этих романов дает новое измерение также и при рассмотрении заявленной нами темы. Ведь герои этих произведений существуют в контексте дворянско-земледельческого мировоззрения эпохи и их собственное мировоззрение, даже в том случае, когда оно тематически не совпадает со смыслами господствующего дворянско-земледельческого миро-

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 2. С. 282.

воззрения, в своих столкновениях с ним вскрывает до того невидимые в нем (господствующем мировоззрении) грани. Так, например, это обнаруживает героиня «Дворянского гнезда» Лиза, вынесенная сюжетом на «разлом» не только нравственного выбора в отношениях с Лаврецким, но и тем, что ей надо замаливать грехи ее помещика-отца: «Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо»⁶⁰. В этой связи у нас, читателей, возникает чувство того, что представленное нам новое мировоззрение героев не совпадает, а может быть, и вовсе антагонистично традиционному русскому земледельческо-помещичьему мировоззрению.

Также постоянно «искрятся» при соприкосновении с образчиками традиционного помещичьего мировоззрения смыслы и ценности мировоззрения образованного и рационального Лаврецкого. При этом к постоянным жителям деревни, местным дворянам-земледелцам уместно отнести и выходца из помещичьей среды, жителя столицы, временно залетевшего в усадьбу щеголя преуспевающего камер-юнкера Владимира Паншина, для которого, по его собственному признанию, «легкость и смелость» в жизни – первое дело. В ряд с мировоззрением Паншина встает и способ жизни законной супруги Лаврецкого – Варвары Павловны, образ которой отдельными чертами перекликается с более поздним образом Раневской из чеховского «Вишневого сада».

Вопрос о «нестыковке» мировоззрений Лаврецкого и Лизы (впрочем, как и музыканта старика-немца Христофора Лемма, о котором следует вести особый разговор), с одной стороны, и большинства обитателей и гостей Лизиной матери-помещицы – с другой, еще более осложняется тем, что и Лиза, и тем более Лаврецкий происходят из этой же русской помещичьей среды. Как повествует Тургенев, род Федора Ивановича – один из древних, тянулся от времен Василия Темного. Прадед его, к примеру, был особенно знаменит тем, что был человеком «дерзким, умным, жестоким и лукавым». Причем «молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой» «не умолкала до нынешнего дня»⁶¹. Дед же, напротив, хотя был взбалмошный, крикливый и грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник, наследовал большое состояние – две тысячи душ. Впрочем, вскоре наследство свое разбазарил.

Отец Федора Ивановича – Иван Петрович – был далек от хозяйственных забот. Воспитывался он приглашенными иностранными учителями, в том числе учеником Жан-Жака Руссо, но после смерти дальней родственницы – княжны, у которой он жил, принужден был вернуться в деревню, к помещику-отцу. Здесь его все раздражало, было не по нему: драться при нем не смей, пьяных он терпеть не мог, людского запаху и духоты он не переносил. Все это, по заключению его родителя, было от «изувера Дидерота», да от того, что у Ивана Петровича «в голове Вольтер сидит». К тому же вскоре он выкинул фортель – не только сошелся, но и женился на хорошенькой горничной, за что был принужден покинуть родительский кров. Однако скорая смерть матери Ивана Петровича примирила отца с сыном, и родившийся от этого брака Феденька Лаврецкий⁶² вместе со своей матерью, вчерашней дворовой, оказался в имении деда.

Впрочем, сам Иван Петрович недолго обретался в деревне, а предпочел отбыть в Париж, где и задержался на долгие годы «для своего удовольствия». Вернувшись в Россию после смерти отца для воспитания сына, которому минул уже двенадцатый год, Иван Петрович привез с собой несколько планов касательно устройства государства Российского. Решительных

⁶⁰ Там же. С. 275.

⁶¹ Там же. С. 152.

⁶² Мировоззренческая инаковость многих тургеневских героев сознательно усиливается автором их маргинальной наследственностью, и начало этому ряду кладет главный герой «Дворянского гнезда». Думается, что этим ходом автор дает еще один вариант ответа на вопрос о возможности позитивных преобразований в стране: в ней, кроме прочего, должна быть разрушена и кастовая непроницаемость между сословиями: в частности, для появления общества должна быть разрушена кровно-родственная общность (Ф. Теннес).

перемен, однако, не последовало, за исключением того, что из дома были изгнаны приживальщики, а вместо того появились иностранные вина, плевательницы, колокольчики и умывальные столики. В хозяйственных делах все осталось по-старому, только «оброк кой-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан»⁶³.

Из Феи Иван Петрович стал «лепить» спартанца, то есть подвергал его всяческим физическим нагрузкам и ограничениям, резко сузил детские связи с миром, обращался сурово и лишь по нужде. Продолжалась это четыре года, после чего Иван Петрович вдруг резко переменялся, из англомана стал заурядным российским байбаком и в довершение ослеп, сделавшись плаксивым ребенком и тряпкой, а потом и умер. Федору Ивановичу в то время было уже двадцать три года.

Перебравшись в Москву, Федор Лаврецкий обнаружил, что мало что умеет практически, в том числе сходить с людьми. Но спартанское воспитание брало свое, и он стал упорно наверстывать упущенное, в том числе учиться. Между тем светская жизнь не обошла его стороной, и богатого жениха вскоре благодетельствовала своим вниманием Варвара Петровна, дочь отставного неудачника-генерала из «среднячков». В отличие от Федора Ивановича Варвара Петровна была особа весьма практичная, хорошо знавшая жизнь и умевшая с пользой в ней устроиваться. В непродолжительное время эта ее способность проявилась в том, что во время их пребывания в Париже, уже будучи замужем, она не преминула Федору Ивановичу изменить. Федор Иванович этого не перенес и жену оставил, впрочем, назначив ей приличное содержание.

Проскитавшись по Европе четыре года, Лаврецкий почувствовал себя в силах вернуться на родину. Свое решение к перемене жизни он мотивировал так: пусть «вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, *чтобы и я умел не спеша делать дело*»⁶⁴ (выделено нами. – С.Н., В.Ф.) И новый помещик начинает жить, прилежно занимаясь хозяйством.

Впрочем, как отмечалось, используя образ Лаврецкого, Тургенев вовсе не пытается рассмотреть одни лишь возможности, границы и конкретное содержание деловой сферы новоявленного русского земледельца. Автор подходит к проблеме российского самосознания, стараясь анализировать прежде всего личность человека. И даже на уровне отдельного примера общественный резонанс оказался очень силен. Почему же резонанс от отдельного примера – личного чувства мужчины и женщины – был столь ощутим? Как такое чувство вообще стало возможно и в чем причина его резкого общественного неприятия?

В советском литературоведении проблемы, которую мы пытаемся сформулировать, не было вовсе. Все сводилось к «противоречию между велениями долга и стремлением к счастью», «долга и самоотречения»⁶⁵, как это определял, например, упоминаемый нами литературовед А. Батюто. Более того, этому тургеневскому сюжетному ходу пытались даже придать философское обоснование. При этом обращались к тезису Артура Шопенгауэра о том, что человеческому бытию должен быть присущ характер порядка, что оно представляет собой долг и что цель нашей жизни следует видеть в труде, лишениях, скорбях, а не в стремлении к счастью. Если следовать этой логике, то оказывалось, что герою нужно не переживать, не бунтовать, хотя бы даже и мысленно, а «исполнять долг» – безропотно смириться и продолжать жить с нелюбимой и неверной женой, может быть, завести интрижку на стороне. А что касается Лизы, то ей нужно без страданий отказаться от любви к Лаврецкому и смиренно принять мысль о том, что поступать так – грех. Но в этом случае роман Тургенева превратился бы в скучное морализирование, назидательную историю для не слишком продвинутого юношества.

⁶³ Там же. С. 162.

⁶⁴ Там же. С. 188.

⁶⁵ Там же. С. 315, 319.

Как нам представляется, проблема не в несовместимости долга и счастья, а в трагической неприемлемости для России того времени мысли о том, что в своей частной жизни как мужчина, так и женщина вправе выходить за пределы традиционных банально-обыденных представлений о том, как и зачем жить. И Лаврецкий, и Лиза – оба, пользуясь привычной для литературоведения терминологией, «лишние» люди. Причем если «лишние» герои-мужчины для русской литературы уже стали даже некоторой традицией, то «лишних» героев-женщин она еще не знала, а уж о том, что между «лишними» возможен союз сердец никто и вовсе не помышлял.

При этом, естественно, у Тургенева нет сколько-нибудь серьезных указаний на связи этих высоких личностных качеств героев с «русским народным характером», о котором кстати и некстати не устают упоминать литературоведы. И это понятно: сам Тургенев к гигантской теме национального характера и мировоззрения только начинал приступать.

На самом деле внешне у Тургенева все кажется простым: объяв ленная газетой смерть жены Лаврецкого оказалась ошибкой и Варвара Петровна является в деревню. С этого момента мировоззренческое столкновение Лаврецкого и жены становится неизбежным. И оно косвенно сразу же происходит: знаменателен факт чрезвычайно быстрого «прощения» супружеской измены Варвары Петровны со стороны хозяйки деревенского салона Лизиной матери, этой «Анны Павловны Шерер» российской глубинки. Что же подвигает добропорядочную мать семейства быть столь снисходительной к явному пороку?

Несомненно, обаяние лживой светскости, которой насквозь пропитана Варвара Петровна и к которой оказывается так восприимчива русская старина. Калейдоскоп чувств, оценок, мнений, принципов, которые обозначаются Варварой Петровной по мере раскрытия автором ее характера, составляет существо несколько европеизированного, но по сути все того же лицемерно-лживого традиционного русского мировоззрения земледельца-помещика в его отношениях с семьей, которое и было испокон веков. Только если прежде помещик, к примеру, беззастенчиво «брал», как вещь, приглянувшуюся ему дворовую, и жена смотрела на эту «шалость» сквозь пальцы, то теперь нравы сделались не столь варварскими, приобрели некоторый лоск. Ведь именно слова о «неопытности молодости» звучат из уст Марьи Дмитриевны в ее попытках «примирить» Лаврецкого с бывшей женой. Так произошли ли какие-либо перемены в российском мирознании, и если да, то какие именно?

Развивая тему позитивных преобразований в России, Тургенев делает попытку чуть ли не публицистического изложения этого вопроса в знаменательном споре между Паншиным и Лаврецким. Россия отстала от Европы, нужно подогнать ее, заявляет Паншин. Введите только хорошие учреждения – и дело с концом: «учреждения переделают самый этот быт». (Как бы в насмешку над этими чиновничьими мечтаниями Тургенев прерывает изложение поэтической зарисовкой: «В саду Калитиных, в большом кусту сирени, жил соловей; его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи; первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип».)

В противовес Паншину Лаврецкий указывал на иллюзорность «с высоты чиновничьего самосознания – переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал... требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею». Заканчивается спор, как это часто бывало в русской литературе, вопросом о личной позиции спорщиков. Лаврецкий на это отвечает, что сам он будет землю пахать «и стараться как можно лучше ее пахать»⁶⁶. Что же касается Паншина, то за него ответила Марья Дмитриевна: у него-де «крупный масштаб».

⁶⁶ Там же. С. 226.

Да, «масштабы» господствующего русского помещичьего мирознания и мирознания нового человека, настроенного на личное дело и право на особую личную жизнь, несопоставимы. Лаврецкий – инородная песчинка в однородной глыбе.

Впрочем, спор этот имеет не только мировоззренческое, но и личностно-нравственное измерение. И не столько потому, что после него происходит по сути первое сближение Лаврецкого и Лизы, сколько потому, что в соответствии с расставленными в споре акцентами герои ставят в нем точку своими жизнями. Так, Лаврецкий действительно становится хорошим хозяином, Лиза во искупление «грехов» уходит в монастырь, а вот чиновник Паншин находит свое «высокое личностное предназначение» в роли «друга» вновь оставившей Лаврецкого Варвары Павловны и снова отправившейся в Париж.

Утверждение личностного поступка, в том числе и величиною в целую жизнь, – вот в чем, на наш взгляд, состоит главное содержание романа Тургенева. В нем впервые в русской литературе «лишний» человек не влачит бесцельное существование, не гибнет от случая (а на самом деле потому, что для него нет места на русской, да и нерусской земле), а проживает свою жизнь хоть и без счастья, но с достоинством, делая свое дело так, как считает нужным его делать. И хотя Лаврецкий, так же как Рудин, прошел школу ученичества в Европе, но вот в отличие от Рудина в Европу не возвращается, а находит и закрепляет за собой место на русской земле.

Центральный образ романа – образ Федора Ивановича Лаврецкого – усиливает фигура бесприютного и честного скитальца, музыканта старика-немца Христофора Лемма. В предельном раскрытии концепции «безвременности» или «преждевременности» Лаврецкого в ситуации предреформенной (и, добавим мы, постреформенной, потом советской, а в некоторых отношениях и современной России) образ Лемма расширяет пределы самовластья практически до бесконечности. В проекции этого образа мы сильнее ощущаем, что крепостное право проникло в ткань общества настолько глубоко, что редкие представители сословий и социальных групп мыслят себя вне и помимо этой установленной самодержавием несвободы и иерархии. И если Лаврецкий борется за свое место под солнцем, то Лемму вообще нет места на земле. Ведь в родной Германии, которую он покинул в молодости, отправившись на поиски счастья, у него ничего нет и его там никто не ждет. Да ему до нее и не добраться.

Для Лемма нет места и в России. В семействе Калитиных ему близка только Лиза, даже с Лаврецким он не может коротко сойтись. По поводу расставания Лаврецкого с Лизой Лемма итожит: «Что я скажу?.. Ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли»⁶⁷. И они разошлись. «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!» – этими словами завершается роман «Дворянское гнездо».

Можем ли мы говорить, что образом Лаврецкого в сравнении с Рудиным Тургенев осуществил сколько-нибудь заметное продвижение вперед в разрешении вопроса о позитивном преобразовании российской действительности? Думаем, да. И не одно. Прежде всего во взаимоотношениях его героя с женщиной (то есть в части российского самосознания о любви мужчины и женщины, о семейной жизни и семье). Даже в трагической ситуации Лаврецкий не теряет достоинства. В этом он несопоставим с Рудиным.

Лаврецкий, далее, в отличие опять-таки от Рудина укоренен в родной земле. Он не перекаати-поле, не бездомный странник. Хотя в своей бессемейности он, пожалуй, сродни Лемму, гибнущему на чужбине. Лаврецкий, наконец, хороший, рациональный хозяин. Причем в этом сочетании слов главное – хозяин. Он – тот, кто утверждает себя и свое дело властью и разумом, определяет, а не определяем, кто способен и прав в строительстве жизни, по своему разумению. И все это – уже некоторая новая, до этой поры отсутствовавшая в русской литературе, за

⁶⁷ Там же. С. 272.

исключением, пожалуй, Гоголя, часть ответа на огромный вопрос о позитивном преобразовании России, о новых людях.

* * *

В контексте идейных споров конца 50-х – начала 60-х годов о возможности позитивного дела в России и о появлении в стране «настоящих людей» написанный в 1860 году роман И.С. Тургенева «Накануне» занимает место ничуть не меньшее, чем последовавший за ним хрестоматийно известный роман «Отцы и дети». То, что произведение было создано буквально перед началом «Великой реформы 1861 года» и, значит, оказалось насыщено острейшими и наиболее актуальными вопросами, делает его особенно важным. По крайней мере современным исследователям Тургенев дает свое представление об иерархии того, что, на его взгляд, было главным и второстепенным для России того периода.

О принципиальной важности отраженной в «Накануне» позиции самого Тургенева свидетельствует и тот факт, что, прочитав посвященную роману статью Н.А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», Тургенев поставил перед тогдашним редактором революционно-демократического «Современника» Н.А. Некрасовым ультиматум – не печатать ее. А когда ультиматум был отвергнут, с журналом порвал.

Сущность идейных разногласий великого писателя с революционным критиком хорошо видна и по откликам из нынешнего, XXI века. Так, в статье литературоведа П.Г. Пустовойта позиции Тургенева и Добролюбова обозначаются так: «Инсаров в понимании Тургенева – это борец не за социальное преобразование общества, а за национальное освобождение страны. Вот почему на первое место герой ставит общенациональные интересы... Добролюбов же связывал появление русских Инсаровых с осуществлением революционных идеалов. Для либерала Тургенева русский Инсаров мог быть просто умеренно-прогрессивным деятелем. Для Добролюбова русский Инсаров – это революционер»⁶⁸. Обозначенные позиции были, как мы понимаем, несовместимы.

В своем отстаивании единственности революционного пути и критике тургеневского «постепенства» Добролюбов был последователен. Так, критически относясь к двум другим важным персонажам романа – скульптору Шубину и ученому Берсеневу – в их сравнении с борцом за освобождение Болгарии Инсаровым, он делает очень точный прогноз о возможности действий Инсаровых в России: «Они (русские Инсаровы. – С.Н., В.Ф.) хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горящие, и предполагаемые утешители. Как же тут быть? Всю эту среду перевернуть – так *надо будет перевернуть и себя* (выделено нами. – С.Н., В.Ф.); а подите-ка сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его повернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас! – между тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком. Инсаров именно тем и берет, что не сидит в ящике; притеснители его отечества – турки, с которыми он не имеет ничего общего; ему стоит только подойти, да и толкнуть их, насколько силы хватит. Русский же герой, являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с тем, на что должен восставать»⁶⁹. Как же тут быть?

По цензурным соображениям, Добролюбов не мог, естественно, прямо говорить о своих идеях революционного переустройства России. Но это ясно прочитывается и в его отношении к поступку Елены, и в отношениях к Шубину и Берсеневу. В понимании героини, отодвинув в сторону главный, ясно прописанный Тургеневым мотив ее поступка – верности делу Инсарова, проистекающей из любви и преданности мужу, – критик дает свою интерпретацию. В

⁶⁸ История русской литературы XIX века. 40–60-е годы. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 267.

⁶⁹ Добролюбов Н.А. Цит. соч. С. 362.

трактовке Добролюбова Елена выбирает «волны восстания», лишь бы не «осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь... И мы рады, что она избежала нашей жизни...». И еще: «...как хорошо, что она приняла эту решимость! Что в самом деле ожидало ее в России? Где для нее там цель жизни, где жизнь? Возвратиться опять к несчастным котяткам и мухам, подавать нищим деньги, не ею выработанные и бог знает как и почему ей доставшиеся, радоваться успехам в искусстве Шубина, трактовать о Шеллинге с Берсеневым, читать матери «Московские ведомости» да видеть, как на общественной арене подвизаются *правила* в виде разных Курнатовских, – и нигде не видеть настоящего дела, даже не слышать веяния новой жизни... и понемногу, медленно и томительно вянуть, хиреть, замирать...»⁷⁰

В Елене Добролюбову видятся черты милого его сердцу образа революционера-ниспровергателя. А уж что происходит с содержимым ящика, который герой-революционер пожелает вращать вместе с собой, Добролюбова не заботит. В этом пункте вопросы Добролюбова к будущему заканчиваются. И было бы наивно упрекать его за отсутствие «дальновзоркости»: критик ставил и искал ответы на те вопросы, которые прозревал, к которым был готов, и мы можем судить его лишь по правилам, им самим установленным.

Вместе с тем, не оценивая критика в связи с поднятыми им проблемами, мы можем свидетельствовать о выводах, сделанных русским обществом в ходе реальной истории. И один из них, имеющий отношение к добролюбовскому «ящику», состоит в том, что в результате принудительного вращения не только его содержимое – русский народ претерпел непредвиденные революционным демократом негативные изменения, но, что не менее важно, сами устроившие вращение революционеры изменились едва ли не коренным образом. При этом от многих их идеалов спустя непродолжительное время не осталось и следа. То, что происходило с ними при подготовке к «вращению», а равно и в его процессе, русскому читателю поведают спустя двадцать с небольшим лет герои романов Н.С. Лескова «Некуда» и «На ножах», также и Ф.М. Достоевский своим «Преступлением и наказанием» и «Бесами». Но о них речь впереди. А пока вернемся к роману «Накануне».

Добролюбов не мог обделить своим вниманием и других важных героев тургеневского произведения. Дворянам Шубину и Берсеневу с их способностями лишь к «малым делам» от критика достается в полной мере. «...Большая часть умных и впечатлительных людей бежит от гражданских доблестей и посвящает себя различным музам, – замечает он. – Хотя бы те же Шубин и Берсенева... славные натуры, и тот и другой умеют ценить Инсарова, даже стремятся душою вслед за ним; если б им немножко другое развитие да другую среду, они бы тоже не стали спать. Но что же им делать тут, в этом обществе? Перестроить его на свой лад? Да ладу-то у них нет никакого, и сил-то нет. Починивать в нем кое-что, отрезывать и отбрасывать понемножку разные дрязги общественного устройства? *Да не противно ли у мертвого зубы вырывать, и к чему это приведет?*»⁷¹ (Вот так! В силе и образности выражений Добролюбову не откажешь. Получите, господа умеренные либералы! Выделено нами. – С.Н., В.Ф.) Так критик-революционер оценивает тургеневские попытки наметить свое решение проблемы позитивного преобразования российской действительности, предлагаемые писателем рассуждения о возможности появления «новых людей».

В заочный диалог писателя и критика, безусловно, примешивалось и личное отношение. Читая статью Добролюбова, нельзя избавиться от чувства, что пишет критик о «г. Тургеневе» несколько снисходительно, как бы похлопывая по плечу, как человек будущего, имеющий дело с «обломком прошлого» и который точно знает рецепт того, как сделать жизнь в России лучше, чем и отличается от несведущего в «социальном вопросе» писателя-«постепенца». В одном месте Добролюбов (обратим внимание не только на смысл, но и на интонацию. – С.Н., В.Ф.)

⁷⁰ Там же. С. 374–375.

⁷¹ Там же. С. 370–371.

даже замечает: «Сборы на борьбу и страдания героя, хлопотавшего о победе своих начал, и его падение перед подавляющею силою людской пошлости – и составляли обыкновенно интерес повестей г. Тургенева»⁷². Ну, прямо «Мальбрук в поход собрался...». Не только Шубин и Берсенов, но также и Лаврецкий, согласно Добролюбову, «принадлежит к тому роду типов, на которые мы смотрим с усмешкой»⁷³.

Неверны по сути, равно как и обидны, если не оскорбительны, были и обозначенные Добролюбовым позиции, которые вообще, по его мнению, занимают в литературном процессе писатель и критик. Роль писателя Добролюбов низводит до функции «регистратора действительности» – дескать, сила реальности такова, что вне зависимости от субъективных намерений автора она сама пробивает себе дорогу и именно с этим, а не с авторским замыслом имеет дело читатель. «Для нас не столько важно то, что *хотел* сказать автор, сколько то, что *сказалось* им, хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни»⁷⁴.

Принизав силу воздействия и значение тургеневского творчества, и при этом замечая, что только чутье к актуальной проблематике «*спасло* г. Тургенева» (здесь и далее выделено нами. – С.Н., В.Ф.) от забвения и «упрочило за ним постоянный успех в читающей публике»⁷⁵, совсем в другом масштабе Добролюбов представляет собственное профессиональное назначение. По его мнению, главной задачей литературного критика является ни много ни мало – «разъяснение тех явлений действительности, которые вызвали известное художественное произведение»⁷⁶.

Получив такую трактовку романа, а заодно и оценку реальных позитивных персонажей русской жизни («Где уж грызть орехи беззубой белке?»), разобраться в которой под силу одному только критику (читай: «революционному критику». – С.Н., В.Ф.), Тургенев не мог не расстаться с такого рода товарищем по перу и журналу: разрыв сделался неизбежным. Перейдем, однако, к анализу самого романа.

О том, что Шубин и Берсенов – не фигуры «второго ряда», а известное выражение Тургеневым его собственных идей относительно возможности позитивных преобразований в стране, говорит помимо прочего уже первая глава романа – одна из самых длинных, наиболее философичных, стоящая к тому же как бы особняком, выполняющая, на наш взгляд, роль романного эпиграфа. В самом деле, она не имеет прямого отношения к будущей центральной сюжетной линии и посвящена обозначению позиций Шубина и Берсенева по ряду социально-философских проблем.

Об особом значении этой главы свидетельствует и то, что она, насколько нам известно, не была подвергнута разбору под этим углом зрения не только Добролюбовым (в этом случае критик, на наш взгляд, упустил возможность вдоволь поиронизировать над «умствованиями» либералов-постепенцев. – С.Н., В.Ф.), но и позднейшими отечественными исследователями. Они, как нам представляется, не придавали значения философскому содержанию главы потому, что стояли на добролюбовских и позднейших «марксистско-ленинских» позициях революционного преобразования действительности как единственно верных и возможных, и, следовательно, другие точки зрения могли интересовать их только как объект критики. Итак, о чем же ведут речь изображенные в ней приятели, лежащие на берегу Москвы-реки в жаркий летний день?

Первая тема – о деле великом и малых делах. Возникает она в монологе Шубина о стариках-антиках, в произведениях которых виден весь мир и к которым красота «с неба сама

⁷² Там же. С. 331.

⁷³ Там же. С. 334.

⁷⁴ Там же. С. 327.

⁷⁵ Там же. С. 330.

⁷⁶ Там же. С. 329.

сходила». В наше время, нам, говорит Шубин, «так широко раскидываться не приходится: руки коротки. Мы закидываем удочку на одной точке, да караулим. Ключет – bravo! А не ключет...»⁷⁷. В ответ Берсенева возражает в том духе, что чувствовать красоту нужно везде. И это не противоречие. Без знания о прекрасном вообще невозможно его воссоздание в одной «точке», в которую закинул удочку. И если представление об общем дает знание, то действовать нужно все-таки в одной точке, в том числе и пытаясь «вертеть ящик вместе с собой».

Далее разговор приятелей переходит на Елену, и из него можно заключить, что эта девушка «не для малых дел» – она не вписывается в проговоренный приятелями способ постепенного преобразования мира: «не дается, как клад в руки». А ведь она – дочь человека дюжинного. Закономерен вопрос: «кто зажег этот огонь?»

За явлением в романе Елены, в том числе и в связи с вопросом «кто зажег огонь», также просматривается тургеневская позиция, расходящаяся с позицией Добролюбова. Если для писателя появление такого рода людей – в принципе неразрешимая загадка и люди эти – исключительные, по которой нельзя мерять всех, когда речь идет о массовых социальных преобразованиях, то для революционного демократа, как известно, тайн в жизни нет. Такие люди (на языке критика – «русские Инсаровы») могут начать появляться в России массово, как только «условия среды изменятся»^[7].

В разговоре приятелей звучит еще одна важная философская тема – о пределах познания человеком мира, который рассматривается человеком как объект преобразования. Как соотносится наше желание и следующее за ним удовлетворение с тем, что мы застаем, обнаруживаем, а подчас и назначаем к изменению в природе? Что и до какой степени мы имеем право менять? Вопросы эти, согласимся, правомерны и по отношению к социальному миру. Позиция тургеневских героев – делать «малые дела» – и в этом отношении оказывается более приемлемой хотя бы потому, что они несравненно менее опасны по своим последствиям для сложно устроенного и мало познанного мира, чем крупные революционные перемены. К тому же отметим, что чаще всего революционные преобразования совершаются не столько в результате продуманности, сколько потому, что без них жизнь, как говорит Добролюбов, кажется «медленной». Довод столь же основательный, сколь и ответственный.

И наконец, друзья обсуждают синтезирующую все иные проблемы – проблему счастья. При этом Берсенева сразу же ставит ее в наиболее важной плоскости: возможно ли счастье, которое бы не разъединяло людей, в пределе – не делало бы их врагами? Он с уверенностью говорит «да», поскольку это обеспечивается как общими делами, так и общим пониманием целого ряда принципиально важных для человека понятий и сфер – искусства, науки, родины, свободы, справедливости и, наконец, любви. На этом разговор как эпитафия романа прерывается и неожиданно, камнем в воду, возникает тема Инсарова.

Возвращаясь к главному предмету спора Добролюбова с Тургеневым, отметим следующее. Конечно, Инсаров, как это и подано в романе, вовсе не революционер, каковым его хотел бы видеть критик, а борец за освобождение своей страны. Означает это, между прочим, и то, что при положительном исходе – изгнании турок – Инсарову еще предстоит столкнуться с проблемами собственно болгарского общества, во многом схожими с российскими, то есть с теми проблемами, над которыми размышляли Шубин и Берсенева и революционный рецепт решения которых грезился Добролюбову. При таком повороте по-новому звучит и само название тургеневского романа.

С появлением в романе нового героя – Инсарова (только в седьмой главе) – тема «после кануна», то есть рассмотрение возможности позитивных преобразований и появления в России «настоящих» людей, обретает новое звучание. Конечно, в романе она присутствует как

⁷⁷ Тургенев И.С. Цит. соч. Т. 2. С. 9.

гостя из будущего, как фон для главной коллизии сегодняшнего бытия героев: стремящийся к великому делу освобождения родины болгарин и занятые «мелкими делами» русские. Однако значение этого фона трудно переоценить.

И фон этот периодически воспроизводится в тексте романа и создается, помимо известного нам Берсенева и философствующего скульптора Шубина с его постоянно задаваемым вопросом «а мы-то, в сравнении с Инсаровым, чем хуже?», еще одним интереснейшим лицом – троюродным братом Елениного отца Уваром Ивановичем Стаховым. Этот «отставной корнет лет шестидесяти, человек тучный до неподвижности, с сонливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице» жил на проценты с небольшого капитала, оставленного ему женой. Он ничего не делал и «навряд ли думал», ел часто и много, почти ничего не говорил, а когда ему «приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: «Надо бы... как-нибудь, того...»⁷⁸ Только один раз в своей жизни «он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно: он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке – «контробомбардоне» и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и через какую контору?»⁷⁹ Однако тем дело и кончилось.

Вместе с тем Увар Иванович – не карикатурный персонаж⁸⁰. Впрочем, если и карикатурный, то в духе шекспировских персонажей – пересмешников-героев, в концентрированном виде высказывающих идейный замысел автора. Назначение Увара Ивановича и у Тургенева – серьезное и глобальное. Он вписывается в роман, с одной стороны, как своеобразное природное начало (так, он, например, удивительно точно умеет подражать голосу птиц), а с другой – как персонифицированная и в концентрированном виде представленная в одном человеке типично русская помещичья общественная среда⁸¹. Именно в качестве «среды» его и рекомендует нам Шубин, когда называет его «черноземной силой», «фундаментом общественного здания», «почтенным витязем».

Тургеневские эпитеты определенно формируют у читателя двойной и в обоих случаях связанный с мифом, то есть в высшем философском смысле, обобщающий образ. Во-первых, невольно напрашиваются ассоциации с заколдованным витязем-Головой в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Напомним, что в диалоге с Русланом Голова рассказывает о том, что и сама прежде была витязем, но потом оказалась заколдована кознями коварного младшего брата. Теперь же, когда Руслан доказал свою доблесть, она готова ему верно служить, то есть продолжать свою прошлую праведную жизнь. Этой аналогией «почтенный витязь» как бы заявляет «новым людям»: не все во мне плохо, есть и доброе прошлое, и меня возьмите в союзники, будем жить вместе.

Во-вторых, Увар Иванович как огромная и бесформенная, преимущественно пребывающая в лежачем положении «черноземная сила» навеивает ассоциации и с гоголевским Виём, считавшимся, по свидетельству великого писателя, у малороссиян «начальником гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли». Вий, как и Увар Иванович, тоже происходит из земли, выступает ее продолжением. Вспомним, как Гоголь описывает его появление: «...ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он,

⁷⁸ Тургенев И.С. Цит. соч. Т. 2. С. 35.

⁷⁹ Там же.

⁸⁰ М.М. Бахтин, например, об Уваре Ивановиче говорит следующее: «Это почти символическое лицо. Он все понимает, чрезвычайно умен, но ко всему равнодушен, и потому ничего не делает. В нем заложен избыток природной, черноземной силы, которая покуда спит» (Бахтин М.М. Цит. соч. С. 220).

⁸¹ Не та ли это «среда», о необходимости изменения которой постоянно пеклись революционеры, и Добролюбов в том числе? – С.Н., В.Ф.

по минутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли»⁸². При встрече с чудовищем философу Хома недостает сил полностью последовать полученному запрету: он, вопреки ему, взглядывает на Вия, тот его немедленно обнаруживает, и Хома гибнет.

Что за этой аналогией? Очевидно, намек на внутреннее нетерпение, часто свойственное молодым современным героям, на их желание опередить события, глянуть в глаза Вию – заглянуть за завесу завтрашнего дня, двинуть «ящик» толчком снаружи, не заботясь о состоянии его содержимого. Шубин, как и Хома, любопытен – тербит Увара Ивановича вопросами о будущем. Но это не толчки извне: между ними, замечает Тургенев, имеется какая-то «странная связь и бранчливая откровенность».

Не этим ли, но в несравненно большем масштабе грешит в своей трактовке болгарина и Добролюбов, озабоченный скорейшим появлением в России «массового Инсарова – революционера». Однако в отличие от критика у героев Тургенева – скульптора и опять же философа – иная, «постепеновская» позиция. И поэтому в тургеневском романе Вий – Увар Иванович не причиняет Шубину зла, а только как бы придерживает его, время от времени приговаривая: «Всею свое время».

Почему между Шубиным и Уваром Ивановичем существует откровенность, читателю становится ясно несколько позднее, когда они обсуждают будущее Елены, уже вышедшей замуж за Инсарова и собирающейся уезжать. Косноязычный и производящий впечатление человека туповатого, Увар Иванович в этом случае вдруг обнаруживает себя верно рассуждающим и моральным. Примечателен итог их беседы, которую Увар Иванович ведет лежа, в позе, в которой, по замечанию скульптора, неизвестно, чего больше – «лени или силы».

Шубин горячится: «Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Все – либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между ними путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы как рыба в воду! Что ж это, Увар Иванович? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?»

– Дай срок, – ответил Увар Иванович, – будут.

– Будут? Почва! Черноземная сила! Ты сказал: будут? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите свечку?

– Спать хочу, прощай»⁸³.

По прошествии некоторого времени, когда Инсаров уже умер, а Елена пропала в пучине Балканских проблем, мы узнаем, что и Берсенев, и Шубин не копят небо зря. Оба сделали карьеру и работают за границей: Берсенев – в Германии, и из него, по уверению Тургенева, «выйдет дельный профессор», а Шубин – в Риме, «считается одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей». Один только Увар Иванович не переменялся и на повторенный в письме вопрос Шубина, будут ли в России настоящие люди, только «поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор»⁸⁴. Дескать, однажды уже отвечал, что ж вторично спрашиваешь, егозишь.

Для ответа на вопрос о возможности позитивного преобразования российской действительности – то ли упорным, каждодневным трудом, «постепенством» малых дел, то ли радикальными мерами, взятыми из практики освобождения Болгарии от турецкого владычества и посредством насаждения в стране Инсаровых, – важна XX глава романа, в которой Шубин

⁸² Гоголь Н.В. Собр. соч. М.: Русская книга, 1994. Т. 2. С. 354.

⁸³ Тургенев И.С. Цит. соч. Т. 2. С. 126.

⁸⁴ Там же. С. 148.

показывает Берсеневу скульптуры Инсарова и свою собственную. Шубин представляет Инсарова дважды – в героическом бюсте, названном «Герой, намеревающийся спасти свою родину», и в ернической статуэтке, изображающей наклонившего голову барана, названной «Берегись, колбасники!».

Очень важен комментарий автора романа. О баране Тургенев пишет так: «Злее и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. *Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии “супруга овец тонкорунных”*»⁸⁵ (выделено нами. – С.Н., В.Ф.). Подчеркнем, это единственная прямая неллицеприятная оценка Тургеневым своего героя. Чем же вызвана она? Не провидением ли автора, как бы заглянувшего в то будущее, после изгнания турок, болгарское общество, в котором инсаровской боевитости и упорства будет совсем недостаточно, когда наступит время кропотливой каждодневной работы?

В то же время в еще одной скульптуре Шубин сделал и собственный портрет в виде испитого жуира с погасшими глазами рядом с чувственной дворовой девкой. В ответ на слова Берсенева о том, что Шубин оклеветал себя, скульптор отвечает, что если он и станет таковым, то в этом будет виновата «одна особа». В этом же контексте звучит и неоднократно задаваемый Шубиным вопрос: в самом ли деле он, да и Берсенев не такие значительные, не столь интересные, да и вообще во всех отношениях менее масштабные личности, чем Инсаров? Не слишком ли велико место, отводимое в русском общественном сознании героическому порыву, революционному поступку, не стоило бы расширить поле позитивных представлений о красоте упорного каждодневного труда?

Вопрос этот не кажется праздным в российской иерархической системе «признанных обществом» (а на самом деле навязанных ему вначале революционно-демократической, а затем и марксистско-ленинской идеологией) ценностей. В ней, в частности, активно возвеличивается высокая значимость связанного с судьбой народа революционно-героического дела и малая значимость (как будут говорить позднее – «мещанство») рутинного повседневного труда. Вот и Ю. Лебедев в книге о Тургеневе пишет, что Инсаров отличается от Берсеневых и Шубиных цельностью характера, полным отсутствием противоречий между словом и делом. Он занят не собой... «Силы Инсарова питает и укрепляет живая связь с родной землей, чего так не хватает русским героям романа... И Берсенев, и Шубин – тоже деятельные люди, но их деятельность слишком далека от насущных потребностей народной жизни. Это люди без крепкого корня, отсутствие которого придает их характерам или внутреннюю вялость, как у Берсенева, или мотыльковое непостоянство, как у Шубина»⁸⁶.

В логике заочного спора Тургенева – Добролюбова, подхваченного впоследствии революционным крылом русской литературы, согласно критику выходит, что, как однажды высказался о счастье К. Маркс, оно – в борьбе⁸⁷. Впрочем, по мнению Тургенева, как мы полагаем, ответ на вопрос об абсолютной ценности борьбы следует давать отрицательный, иначе как бы это согласовывалось с чертами тупой важности и ограниченности в физиономии барана – Инсарова. Очевидно, если и есть возможность повернуть ящик, толкая его извне, то это вовсе не отменяет необходимости затем поворачивать его, сидя внутри. А вот по силам ли это людям типа Инсарова – для Тургенева большой вопрос.

⁸⁵ Там же. С. 88.

⁸⁶ Лебедев Ю. Жизнь Тургенева. Всеведущее одиночество гения. М.: Центрполиграф, 2006. С. 393.

⁸⁷ Свою статью «Когда же придет настоящий день?» Н.А. Добролюбов завершает словами: «Он (Инсаров. – С.Н., В.Ф.) необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он наконец, этот день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!» (Добролюбов Н.А. Цит. соч. С. 378).

Что же до Добролюбова, то, наверное, такого рода вопросы его не занимали вовсе. Свою миссию он, очевидно, как и списанный с него тургеневский Базаров, видел в том, чтобы «место расчистить». О людях типа Добролюбова и Чернышевского Герцен, например, однажды сказал: меня поражает в них «злая радость отрицания и страшная беспощадность». Впрочем, не слишком далеки от них и утописты – по словам Герцена, «люди дальнего идеала». «Люди, смелые на критику, были слабы на создание; все фантастические утопии двадцати последних годов⁸⁸ проскользнули мимо ушей народа; у народа есть реальный такт, по которому он, слушая, бессознательно качает головой и не доверяет отвлеченным утопиям до тех пор, пока они не выработаны, не близки к делу, не национальны, не полны религией и поэзией»⁸⁹.

Тургенев же в насильственной революционной ломке прозревал освобождение человека не только от крепостнического уклада и монарха как его материального воплощения, но и от накопленных обществом культурных традиций, ценностей, норм, исторической памяти. Иными словами, видел в революционерах-ниспровергателях и в утопистах врагов культуры.

И наконец, в завершение рассмотрения романа снова о трактовке революционным критиком героини произведения. Критик, как мы помним, делал акцент на заключительной фразе последнего письма Елены, адресованного матери: «А вернуться в Россию – зачем? Что делать в России?», и трактовал ее в том смысле, что Елена прониклась революционным делом и потому не может больше уделять внимание мелочным занятиям. Это отчасти так, но только отчасти. Очевидно, Елена по своему внутреннему содержанию не просто сделалась инобытием Инсарова. Скорее она решает для себя продолжать делать его дело из чувства долга: «...я после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни», – пишет она в последнем письме матери. К этому же добавляется и ее трактовка судьбы: «Нас судьба соединила недаром: кто знает, может быть, я его убила»⁹⁰.

Чьи это слова: верной жены или новоиспеченной революционерки? Однако для человека, одержимого идеей, каковым, несомненно, был Н.А. Добролюбов, истина переставала быть истиной, если вступала в противоречие с его собственной идеей. А таковой, бесспорно, была идея культивирования в России «массового Инсарова». Поэтому Елена, по Добролюбову, – одно из инсаровских воплощений⁹¹.

Впрочем, и по заверению Увара Ивановича, в России ожидалось появление новых людей. Одним из них и стал герой следующего романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» – лекарь и лекарский сын, разночинец Евгений Васильевич Базаров.

* * *

Мертвых надо хоронить, а не пытаться рвать у них больные зубы. Такова, как помним, была одна из центральных мыслей критической статьи Н.А. Добролюбова о романе И.С. Тургенева «Накануне». Другим же, скрытым от цензуры, но имманентно присутствующим в тексте, был тезис о необходимости для России собственных русских Инсаровых-революционеров. Но что принесут они в российское мировоззренческое поле, каковы будут их собственные идеи,

⁸⁸ Это писалось в 1847 г. – С.Н., В.Ф.

⁸⁹ Герцен А.И. Цит. по: Прокофьев В. Герцен. ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 1987. С. 222.

⁹⁰ Там же. С. 146.

⁹¹ Эта добролюбовская позиция поддерживается некоторыми литературными критиками и сегодня. Так, например, Ю. Лебедев в своей содержательной книге о Тургеневе пишет следующее: «Накануне – это роман о порыве России к новым общественным отношениям, пронизанный нестерпимым ожиданием сознательно-героических натур, которые двинут вперед дело освобождения крестьян» (см.: Лебедев Ю. Жизнь Тургенева. Всеведущее одиночество гения. М.: Центрполиграф, 2006. С. 393). Чего-чего, а «нестерпимого ожидания сознательно-героических натур», на наш взгляд, в своем романе Тургенев не проявил. Напротив, его спокойный, раздумчивый тон позволяет читателю сравнительно беспристрастно размышлять над более важными вопросами, в частности о возможности появления в духовной и хозяйственной культуре России позитивного хозяина-созидателя.

ценности и воззрения? Будут ли они согласовываться или расходиться с наличным самосознанием узкого мыслящего слоя России, в первую очередь дворян-помещиков, либералов прежде всего? На эти вопросы в то время еще не было ответов. Их формулирование, содержательное раскрытие и рассмотрение возможных вариантов ответа, по нашему мнению, и взял на себя труд показать Тургенев своим знаменитым – не в последнюю очередь благодаря советской пропаганде – романом «Отцы и дети». Произведение это, как мы полагаем, стало первым в русской философско-литературной мысли публичным мировоззренческим диспутом между русскими либералами и революционными демократами и даже, по своим выводам, романом-прогнозом.

В связи с анализируемыми романами Тургенева, в особенности с последними двумя, гипотеза, которую мы намерены рассмотреть, состоит в следующем. Роман «Отцы и дети» (написанный в 1861 году), действие которого разворачивается в 1859 году, – органичное продолжение идейно-философского содержания романа «Накануне» (год написания – 1860-й, время действия – 1853 год). В романе, образ главного героя которого, как считают некоторые исследователи, списан с Добролюбова и Чернышевского⁹², в философско-художественной форме рассматривается предложенная Добролюбовым и, на наш взгляд, очень точная и выразительная концепция-вопрос: «Можно ли повернуть ящик – общество, находясь не снаружи, а сидя внутри него?» То есть в герое Базарове нам предложен один из возможных вариантов «русского Инсарова», но уже после выполнения его болгарским двойником национальной задачи – изгнания турок, и вплотную столкнувшегося с проблемой позитивного преобразования общества, в котором он живет сам и несвобода которого является результатом не внешней силы, а его, общества, собственной природы.

Попробуем представить, как выглядела задача, заочно предлагавшаяся для решения Добролюбовым Тургеневу (пусть не явно, но в добролюбовском критическом выступлении и в контексте неизбежной мысленной полемики), если исходить из принципиальных, сформулированных критиком условий для деятельности «русского Инсарова»? Очевидно, она виделась примерно так. Российское общество – мертвец. Лечить его невозможно. «Либералы-постепеновцы» вроде Рудина, Лаврецкого, Шубина и Берсенева переделать ничего не могут. Да к тому же ни сил, ни представлений, ни плана возможной переделки у них нет. Нужны решительные личности-герои, которые изменят среду – «расчистят место», как выражается Базаров, а уж в ней-то и появятся «новые люди» [\[8\]](#).

Тургенев, что видно из содержания романа, принял эти предлагаемые Добролюбовым условия. И надо признать, что созданный им Базаров как тип революционера-преобразователя, находящегося внутри общества, но еще в силу своего определенного исторического времени не прибегающий ни к бомбам, ни к револьверу (идея террора, насильственного преобразования действительности придет в российское самосознание пятнадцать – двадцать лет спустя, вслед за идеологией «нигилизма» и отчасти будучи подготовлена именно ей. – С.Н., В.Ф.), не имел иного способа революционного преобразования современного ему общества, кроме как посредством уничтожения (отрицания) части его основополагающих, но, как он полагал, «отживших» норм, принципов, ценностей, идей. То есть, по существу, Базаров прибегает к своеобразному идеологическому террору как предтечи террора физического⁹³. И только таким способом, согласимся, он мог обозначить свою конфронтационную позицию и заявить о начале

⁹² Современник И.С. Тургенева, литературный критик петербургского журнала «Время» Н.Н. Страхов свидетельствовал: «Публичным же представителем нового поколения, судя по всем указаниям, служил для него (Тургенева. – С.Н., В.Ф.) «Современник». Так что роман представляет будто бы не что иное, как открытую битву с «Современником» // Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М.: Астрель, 2003. С. 106.

⁹³ По поводу соотношения нигилизма и терроризма известно интересное свидетельство ученого и революционера П.А. Кропоткина, который свидетельствует, что в XIX веке в общественном сознании допускалось смешение этих двух понятий. По мнению Кропоткина, это не так. Нигилизм «неизмеримо глубже и шире терроризма». А раз так, думаем мы, то, очевидно, нигилизм при известных условиях может включать в себя терроризм (см.: Кропоткин П.А. Русская литература. Идеал и действительность. М.: Век книги, 2003. С. 101).

идейной борьбы. Равно как и облегчить себе задачу сдвинуть «ящик – общество» с места, находясь внутри него, тем, что попытался выбросить из него часть его идейно-нравственного содержимого.

По каким же основаниям, что именно, каким образом и насколько последовательно Базаров-Инсаров пытается выбрасывать «ненужное» содержимое из «ящика» – русского общества? Вопросы эти тем более важны, что, как следует из даваемого определения, «нигилизм» – это вовсе не свод отвергаемых «сообществом нигилистов» понятий, отношений, ценностей, принципов и норм, отвергать которые нигилисты, так сказать, договорились. Нет, это нечто субъективно-аморфное. Это – произвольно избираемая каждым субъектом-нигилистом совокупность составных элементов общественного самосознания, по отношению к которым он самочинно решает – отвергать или не отвергать, принимать или не принимать в качестве руководства для самого себя. Согласно приводимому Аркадием определению «нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип»⁹⁴. Этот субъективизм, в дальнейшей истории последовательно превращающийся в авторитаризм, диктатуру и деспотизм, – важнейший элемент феномена «революционности», на основе которого каждый большой и маленький «вождь-нигилист» получает возможность определять, что считать благом, а что – злом, кого назначить другом, а кого – врагом, равно как и какую меру возмездия для каждого врага определить. Итак, очевидно, что основание для определения, что в «ящике» бесполезно, революционером-нигилистом принимается субъективно-произвольно ^[9].

Следующий вопрос: каким образом совершается само выбрасывание «лишнего»? То, что предпринимает Базаров при реализации своей задачи «облегчения содержания ящика-общества» перед тем как его «повернуть», есть намеренное упрощение, опошление, редукция до примитивного, едва ли не до дикарского естественно-физиологического уровня. Заметим, что, будучи человеком не глупым и, очевидно, в глубине души сознающим, что что-то в его «вере» не так, он психологически старается подавить это чувство и потому постоянно – завуалированно или открыто – хамит, снижает сложное до простейшего, эмоционально и поведенчески демонстрируя небрежение: зевая, обрывая разговор или даже бесцеремонно покидая собеседника, как, например, это было, когда Базаров и Аркадий, допив у Кукшиной шампанское, встают и, не прощаясь, уходят, а на состоявшемся затем балу демонстративно не замечают недавно радушно принимавшую их хозяйку.

Такое поведение Базаров обнаруживает постоянно, начиная с первого появления в гостях у Кирсановых, при том, что он понимает, что для хозяев в силу закона гостеприимства непозволительно одернуть наглеца. То есть поступает он бесчестно и не может этого не сознавать. Когда же Аркадий, будучи по-родственному задет в ходе одной из «сцен», вяло пеняет ему, что это-де «несправедливо», Базаров беззастенчиво осаживает его вопросом: «Что такое справедливость?», очевидно, подразумевая, что у этого явления нет физиологического (материалистического) основания. Вместе с тем он продолжает считать для себя возможным пользоваться комфортом, который предоставляют ему братья Кирсановы.

Разбирать в подробностях проявления базаровского так называемого «нигилизма», на наш взгляд, малоинтересный и к тому же уже много раз выполненный труд. А вот остановиться на некоторых вопросах, связанных с существом его воззрений, следует. В этой связи прежде всего обратимся к статье М.А. Антоновича – последователя Н.А. Добролюбова по журналу «Современник», жестко-критически оценившего роман в статье, иронически озаглавленной «Асмодей нашего времени» ^[10]. По мнению революционного критика, взгляды, приписанные Тургеневым Базарову – всего лишь «карикатура, утрировка, происшедшие вследствие непонимания, и больше ничего. Автор направляет стрелы своего таланта против того, в сущность

⁹⁴ Тургенев И.С. Цит. соч. Т. 2. С. 168.

чего он не проник. ...Художественно разбирать современный образ мыслей и характеризовать направления ему не следовало бы; он или вовсе не понимает их, или понимает по-своему, по-художнически, поверхностно и неверно; и из олицетворения их составляет роман»⁹⁵.

Высказываясь и далее примерно в таком же духе, Антонович заключает: «Извините, г. Тургенев, вы не умели определить своей задачи; вместо изображения отношений между «отцами» и «детьми» вы написали панегирик «отцам» и обличение «детям»; да и «детей» вы не поняли, и вместо обличения у вас вышла клевета. Распространителей здравых понятий между молодым поколением вы хотели представить развратителями юношества, сеятелями раздора и зла, ненавидящими добро, – одним словом, асмодеями»⁹⁶.

Спорить с критиком напрасно. Его «аргументация» лишена содержания, а общие негативные выводы выводятся исключительно из его, Антоновича, революционной ориентированности, вступающей в конфликт с либеральной позицией Тургенева⁹⁷.

Столь же непродуктивна и полемика с более серьезным оппонентом либералов – революционером П.А. Кропоткиным. Упоминаем же его имя рядом с Антоновичем мы лишь по одной причине: не находя явных аргументов в поддержку Базарова, он, как и литературный критик, опускается до уровня фраз условно-обобщенного характера. Так, например, он утверждает, что Базаров «отрицательно относится ко всем учреждениям настоящего времени и выбрасывает за борт (устоявшаяся идиома, похожая на добролюбовский поворот ящика. – С.Н., В.Ф.) все условности и мелочные притворства жизни обыденного общества»⁹⁸.

Следующая часть из поставленного нами вопроса относительно содержимого выбрасываемого из «ящика-общества», или, в формулировке Кропоткина, что должно лететь «за борт», – чему же именно назначается такая судьба? Напомним, что Кропоткин называет это обобщенно: «условностями и мелочными притворствами жизни». Сам же Базаров дает следующий ответ: выбрасывается бесполезное, а оставляется только то, что полезно. Но полезно кому? И тут снова оказывается, что решение целиком зависит от индивидуального революционного, в данном случае – базаровского, произвола. Приведем на этот счет некоторые характерные примеры.

Полезна ли «эмансипированная особа» Кукшина? Вообще-то, нет, но если она готова выставить голодным друзьям завтрак, да еще и шампанское, то она признается Базаровым «полезной», и друзья идут к ней в гости.

Полезен ли, как полагает Базаров, «предмет забавы» Николая Петровича – Фенечка? Если для Николая Петровича, у которого, по определению нигилиста, «губа не дура», то суждение Базарова отрицательное. Да и на Аркадия он готов свое отрицательное, не лишненное оттенка подлости суждение распространить: «Видно, лишний наследничек нам не по нутру?»⁹⁹ А вот для собственного удовольствия Евгения Васильевича Фенечка очень даже полезна. И хотя ничего, кроме добра от дома Кирсановых, он не видел, «демократ» не может отказать себе в маленькой плотской утехе – насильственном поцелуе.

Полезен ли базаровский знакомец Ситников? Казалось бы, человек пустой и никчемный. Более того, Базаров постоянно шпыняет его за отца – винного откупщика, то есть постоянно напоминает сыну, что его отец спаивает народ. Кажется, очевидно – вреден. Но с точки зрения утверждения в обществе самого Базарова (а он, оказывается, несмотря на свои наме-

⁹⁵ Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М.: Астрель, 2003. С. 31.

⁹⁶ Там же. С. 34.

⁹⁷ К тому же критический разбор «позиций» Антоновича уже был сделан современниками – критиками из либерального лагеря, в частности Н.Н. Страховым и М.Н. Катковым. Противоположных – трезвых и отличных от мнения «Современника» – взглядов на роман и фигуру Базарова придерживался и Д.И. Писарев.

⁹⁸ *Кропоткин П.А.* Цит. соч. С. 101. Между прочим, Базаров намеревается стать уездным лекарем, а эта форма медицинского обслуживания населения – один из элементов «учреждений настоящего времени – России 50-х годов». Так что, по базаровской логике в ее трактовке Кропоткиным, следовало бы и ее долой, не так ли?

⁹⁹ *Тургенев И.С.* Цит. соч. Т. 2. С. 186.

ренно-горделивые и одновременно уничижительные самохарактеристики – «мой дед землю пахал», «лекарь я и лекарский сын» – и об этом думает) – нет: «Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..»¹⁰⁰

О полезности для народа «демократ Базаров» судит решительно: «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы... подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

– Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте – логика истории требует...

– Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся»¹⁰¹.

При этом сам Тургенев дает нам понять, что, вообще-то, «в народе» Базаров разбирается не слишком хорошо, да и народ к нему в основном относится как к непонимающему «барину». Так, накануне дуэли встреченный Базаровым мужик не снял перед ним шапки, но затем, когда Базаров был вместе с Павлом Петровичем, не только снял шапку, но и «забочил» лошадь. И еще, когда Базаров уже в отцовской деревне пытался говорить с мужиком, то за этим следует ремарка Тургенева, что Базарова мужики считали за «шута горохового»¹⁰².

Так может ли говорить от имени народа такой «демократ», признанный за демократа лишь революционными критиками? Думаем, что и у самого Тургенева есть отчетливые указания на то, что демократизм базаровых – вещь конъюнктурно-показная и всего лишь средство для того, чтобы перевернуть общественную пирамиду с ног на голову, чтоб самим оказаться на вершине. И дело не только в «откровениях» по поводу Ситникова, услышав которые Аркадий справедливо подумал, что и ему Базаров также отводит роль обжигателя горшков при дворе нового разночинного царя.

Нецивилизованность Базарова к демократизму, о котором он якобы печется, привести не может. Демократическое общество складывается не у дикарей, не у «обжигателей горшков», а у экономически независимых, культурных личностей. Для появления же личностей, кроме экономической самостоятельности, важна та самая культура и ее преемственность, которую и олицетворяют собой братья Кирсановы, Аркадий, Одинцова. Поэтому Базаров, учитывая его мировоззрение, привычки, склад ума, агрессивную нецивилизованность, будь на то его воля, смог бы построить лишь очередную дикарскую деспотию с собой во главе.

Вопросы о демократии, свободе, культуре, постепенно делавшиеся главными в размышлениях русских мыслителей, в дальнейшем будут нами постоянно рассматриваться. Пока же отметим, что революционные персонажи в классической русской литературе и XIX, и XX столетия были не в ладах с культурой и, кроме ее разрушения, иных рецептов ее изменения не предлагали. В результате, отчасти и по этой причине, они не только не освобождали народ от деспотизма, но, когда им случалось побеждать, неизменно заменяли «просвещенный деспотизм» «деспотизмом варварским», еще более страшным.

Суждение это будет раскрываться по мере нашего дальнейшего исследования. А пока зафиксируем, что, на наш взгляд, именно с Тургенева, с его образа разночинца Базарова, начинается отсчет длинной вереницы отечественных революционных переустроителей российского мира и многие черты, замеченные автором романа в этом персонаже, в дальнейшем вновь дадут о себе знать¹⁰³.

¹⁰⁰ Там же. С. 246.

¹⁰¹ Там же. С. 192.

¹⁰² Там же. С. 291 и 317–318.

¹⁰³ Базаров действительно первый в длинной череде отечественных общественных преобразователей, хотя до самого переустройства дело у него и не дошло. Но все же этот персонаж – определенное продвижение в тенденции, складывающейся из образов «говоруна» Рудина и «иноземного национального освободителя» Инсарова. Следующий за ними Базаров – первый, кто четко сформулировал идею переустройства российского общества и даже составил для этого рецепт – упростить задачу

Роман Тургенева, при том, что изначально был посвящен имевшейся в тогдашнем российском обществе действительной проблеме конфликта «отцов и детей», на самом деле оказался первым русским исследованием возможности утверждения в обществе деспотии революционной разночинной посредственности через уничтожение деспотии монархической, отчасти поддерживаемой либеральным дворянством. К счастью, тотальное российское раздолбайство (например, у уездного лекаря ланцеты тупы и «адского камня», даже при работе в зоне тифозной эпидемии, при себе нет!) в данном случае выполняет роль защитной реакции: самоназванный «демократический» вождь гибнет от яда мужицкого трупа. Этот сюжетный ход, на наш взгляд, обнажает перед нами не игрушечный, базаровский, а настоящий великий исконный российский нигилизм как отрицание культуры во всех ее проявлениях, в том числе и в форме культуры профессиональной. Вы, господин Базаров, хотели торжества нигилизма, так извольте получить. Вот потому-то нам и жалко этого несимпатичного грубияна, что гибнет он не от своего, наполовину показного, наполовину потешного «нигилизма», а от столкновения с чудовищным реальным явлением – отсталостью и дикостью российского бытия, чуждого культуре, построенного и продолжающего существовать на фундаменте небрежения человеческой жизнью. Символический финал, в особенности если смотреть на столкновение Базарова и Кирсановых не как на личностный или даже сословный конфликт, а как на модель конфликта реальной просвещенно-монархической деспотии и примеряющейся к реальному бытию деспотии варварско-разночинной ^[11].

На наш взгляд, именно это существо конфликта, может быть, безотчетно, но все-таки понимали и потому страшились обозначаемой им очевидной для себя бесперспективности реальные революционные сторонники героя романа, поскольку бессознательно игнорировали явные авторские указания и свидетельства. Так, цитировавшийся нами Кропоткин честно «не видит» того, что изображение базаровского отношения к «подпевале» Ситникову, да и к своему «идейному товарищу» Аркадию, как к полезным ему рабам, «обжигателям горшков» никак не согласуется с его, Кропоткина, утверждением, что Базарова всегда отличает решение вопросов в демократическом духе, «без всякой примеси старых предрассудков».

Кропоткин также честно не замечает, что суждение о Николае Петровиче Кирсанове как о человеке, живущем «ленивой жизнью помещика», – только часть из сказанного Тургеневым. Другая же часть тургеневского свидетельства о Кирсановых состоит в том, что и сам Николай Петрович не просто ленивец, да и сын его, Аркадий, хозяйственные дела в отцовском имении поправил, «сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход»¹⁰⁴. Не в выводах ли подобного рода и заключается один из вариантов авторского ответа на проблему «отцов и детей»?

Кстати сказать, в этом же позитивном ключе, ключе преемственности и культуры, решен в романе и вопрос о самом Базарове. Ведь он – лекарский сын, который честно продолжал дело своего отца и делал это столь не по-русски научно, аккуратно и педантично, что начал не по обязанности, а только ради поддержания профессионального уровня вскрывать труп умершего, хотя это было дело уездного лекаря! То есть в главном, профессиональном деле Базаров, как и Аркадий, дает ясный ответ на пресловутую проблему «отцов и детей»: дети продолжают дела отцов, и это продолжение возможно только в традиции созидания и культуры, а не разрушения и нигилизма.

Вопреки известным нам критико-литературоведческим заключениям о герое романа возьмем на себя смелость утверждать, что Базаров не столько жил, сколько болел нигилизмом и погиб именно от этого разнесенного по всей стране микроба. Потому что на самом деле настоящий нигилизм, которым, к сожалению, переполнено наше общество, есть не столько

методом отбрасывания «лишнего» – и, далее, предложил «место расчистить».

¹⁰⁴ Там же. С. 331.

псевдореволюционная болтовня, сколько наше родное и давно ставшее привычным российское раздолбайство. Именно уездный лекарь Сидор Сидорыч, вначале ставший причиной заражения Базарова, а затем призванный лечить его и постоянно просящий для себя то трубочки, то «укрепляюще-согревающего», и есть одно из многочисленных проявлений подлинного нигилизма, реального отрицания культуры, варварства.

Сам же Базаров, заболев и будучи поставлен на грань жизни и смерти, как нам представляется, в силу имеющихся у него рациональных оснований, а также природного здравого смысла от псевдо радикальных, но тем не менее опасных революционных игрушек отказывается, от нигилизма излечивается. В последних сценах мы не узнаем его – ни в отношениях с родителями (прежде: «Ну, подождут, что за важность!»), ни в отношениях с Одинцовой (прежде, в русле «нигилистического взгляда»: «богатое тело!»).

Также перед приближающимся «гамбургским счетом» разрешается и еще одна болезненно-бредовая нигилистическая установка Базарова – его отношение ко времени. Как помним, декларируя идеологическую «могущественность» нигилизма, в отношении времени разnochинец заявлял: «Отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня»¹⁰⁵. Теперь, оказавшись на пороге смерти, Базаров перерождается, и мы видим совершенно иного человека – хочется верить, продолжателя лучших традиций культуры человечества. Во всяком случае, в последние часы жизни Базаров заботливо-охранителен по отношению к своим бедным родителям, нежно-великодушен с любимой женщиной, по-сократовски стоически-героичен перед лицом смерти. И наверное, не только, чтобы угодить матери, он соглашается на совершение над ним христианского обряда. Думаем, окажись в этот момент рядом брата Кирсановы, он и с ними попытался бы заменить прежние конфронтационно-разрушительные отношения на иные, дружески-примирительные. Это, конечно, надежда. Но во всяком случае то, каким мы наблюдаем Базарова на пороге смерти, радикально отлично от его прежнего образа «нигилиста».

Похоже, с приближением смерти для Базарова заканчивается время, при котором, как он утверждал ранее, «полезнее всего отрицание – мы отрицаем»¹⁰⁶. Напротив, начинается время, когда надо строить, по крайней мере, то, что в данный момент доступно – изменять отношение к родителям, к Одинцовой, к религии. И оказывается, что строительство есть продолжение того лучшего, что раньше подвергалось Базаровым огульному отрицанию¹⁰⁷. Таким образом, один из «детей» решил пресловутую проблему тем, что принял ценности отцов.

В этом контексте становится понятным и парадокс, отмечавшийся исследователями тургеневского творчества. С одной стороны, в отношении писателя к Базарову мы не наблюдаем ни поэтического ореола, ни нежной любви, которыми Тургенев традиционно окружает своих главных героев, а с другой – в одном из тургеневских писем есть такие строки: «Я сделал из него (Базарова. – С.Н., В.Ф.) лицо трагическое – тут было не до нежностей. ...Если читатель не полюбит Базарова со всею его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью – если он его не полюбит, повторяю я, – я виноват и не достиг своей цели»¹⁰⁸. Полюбить же Базарова нам позволяет не его ум и сила, которая «ломит и уже потому права», но его

¹⁰⁵ Там же. С. 178.

¹⁰⁶ Там же. С. 193.

¹⁰⁷ В этой позиции мы расходимся с точкой зрения одного из проницательных критиков того времени – Н.Н. Страхова, который в статье «И.С. Тургенев. „Отцы и дети“» пишет: «Смерть – такова последняя проба жизни, последняя случайность, которой не ожидал Базаров. Он умирает, но и до последнего мгновения остается чуждым этой жизни, с которой так странно столкнулся, которая встревожила его такими *пустяками*, заставила его надеть таких *глупостей* и, наконец, погубила его вследствие такой *ничтожной* причины» (см.: Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М.: Астрель, 2003. С. 94–95).

¹⁰⁸ Цит. по: Кротошкин П.А. Указ. соч. С. 103–104.

преображение, встраивание в контекст человечности и культуры, когда дети становятся улучшенным продолжением своих отцов и, в свою очередь, открывают пути своим детям ^[12].

Безусловно прав Н.Н. Страхов в своем заключении о романе Тургенева: «Итак, вот оно, вот то таинственное нравоучение, которое вложил Тургенев в свое произведение. Базаров отворачивается от природы; не корит его за это Тургенев, а только рисует природу во всей красоте. Базаров не дорожит дружбою и отрекается от романтической любви; не порочит его за это автор, а только изображает дружбу Аркадия к самому Базарову и его счастливую любовь к Кате. Базаров отрицает тесные связи между родителями и детьми; не упрекает его за это автор, а только развешивает перед нами картину родительской любви. Базаров чуждается жизни; не выставляет его автор за это злодеем, а только показывает нам жизнь во всей ее красоте. Базаров отвергает поэзию; Тургенев не делает его за это дураком, а только изображает его самого со всею роскошью и проницательностью поэзии.

Одним словом, Тургенев стоит за вечные начала человеческой жизни, за те основные элементы, которые могут бесконечно изменять свои формы, но в сущности всегда остаются неизменными.

...Общие силы жизни – вот на что устремлено все его внимание. Он показал нам, как воплощаются эти силы в Базарове, который их отрицает; он показал нам если не все более могущественное, то более открытое, более явственное воплощение их в тех простых людях, которые окружают Базарова. Базаров – это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою.

Как бы то ни было, Базаров все-таки побежден; побежден не лицами и не случайностями жизни, но самую идею этой жизни. Такая идеальная победа над ним возможна была только при условии, чтобы ему была отдана всевозможная справедливость, чтобы он был возвеличен настолько, насколько ему свойственно величие. Иначе в самой победе не было бы силы и значения.

Гоголь о своем „Ревизоре“ говорил, что в нем есть одно честное лицо – смех; так точно об „Отцах и детях“ можно сказать, что в них есть лицо, стоящее выше всех лиц и даже выше Базарова, – *жизнь*»¹⁰⁹.

* * *

Хотя роман И.С. Тургенева «Дым» появился после «Отцов и детей» только спустя шесть лет, в 1867 году, одна из ведущих линий, намеченная в «Отцах», – линия творческого усвоения русским обществом западных ценностей или признания их «негодными» и, следовательно, поиска иных, в том числе исконно-самобытных, начал, – линия эта в романе была продолжена. Объяснение необходимости поддержания давнего спора, начатого Чаадаевым и Хомяковым еще в конце 30-х годов, в существенной мере заключалось в том, что сам отказ от феодализма в России в виде отмены системы крепостной зависимости произошел лишь отчасти. Не только крестьянство, получившее всего лишь личное освобождение и вынужденное выкупать у помещиков свое средство существования – землю, оставалось зависимым сословием. Юридически несвободными по-прежнему были и дворяне, помещики в том числе.

Важно отметить, что освобождение от крепостничества в России не было результатом имманентного развития общества. То есть в обществе, в его земледельческих слоях прежде всего, к началу 60-х годов еще не сформировались те силы, которые бы своим влиянием привели к уничтожению крепостного права, а в дальнейшем инициировали установление

¹⁰⁹ Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М.: Астрель, 2003. С. 104–105.

новых капиталистических отношений. Освобождение было даровано монархом, было милостью «сверху» и, значит, в земледельческих слоях не рассматривалось как «свое», как выстраданный этими слоями хозяйственный и общественный результат, к которому они стремились, на который длительное время работали, в процессе этой работы преобразовывая себя. Напротив, будучи привнесено извне, освобождение многими помещиками и крестьянами рассматривалось лишь как новая, навеянная подражанием Западу мода, как жизненная сложность, ломающая привычный уклад, и даже как «несчастье».

Естественно, что свойственная капитализму экономическая и политическая свобода в системе российских хозяйственных и общественных ценностей по-прежнему не занимала сколько-нибудь видного места. Многие видели в ней лишь обузу, которую монарх неизвестно для чего велел поставить на место веками складывавшейся системы тотального «господства – подчинения» с упованием, при особо тяжелых обстоятельствах, на помощь милостивого к своим подданным его, царя-батюшки.

Содержательная логика отмены крепостничества для крестьян и помещиков была такова. Со стороны крестьян она заключалась в дележе свалившейся сверху и давно желаемой божеской справедливости, подарком от власти, а не логическим итогом их собственной экономической и политической борьбы, за который нужно было все-таки платить. Со стороны помещиков аграрная революция сверху виделась в форме инициированной царем незаслуженной и оскорбительной для сельских дворян материальной потери, с которой им приходилось мириться. В этой содержательной логике и происходил реальный раздел, при котором были недовольны обе стороны.

Сколько-нибудь улучшить эту ситуацию не удавалось даже такому либеральному помещику, каковым на деле был, например, сам Тургенев. В общении с крестьянами он сталкивается не только с равнодушием, но и с открытой ненавистью. В отношении него – «добраго барина» – у мужиков прорывались презрение и злоба. В этой связи в одном из писем Полонскому он сообщал: «С моими крестьянами дело идет – пока – хорошо, потому что я им сделал все возможные уступки, – но затруднения предвидятся впереди». И далее: «Будем мы сидеть поутру на балконе и преспокойно пить чай и вдруг увидим, что к балкону из церкви по саду приблизится толпа Спасских мужичков. Все, по обыкновению, снимают шапки, кланяются и на мой вопрос: «Ну, братцы, что вам нужно?» – отвечают: «Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй... Барин ты добрый, и очень мы тобой довольны, а все-таки, хошь не хошь, а приходится тебя, да уж кстати вот и их (указывая на гостей) повесить». А в письме А. Анненкову признавался: «Мои уступки доходят до подлости. Но Вы знаете сами, что за птица русский мужик: надеяться на него в деле выкупа – безумие. Всякие доводы теперь бессильны»¹¹⁰.

Надо отметить, что увиденный Тургеневым в деле освобождения русский крестьянин часто коренным образом отличается от земледельцев – героев рассказов 40–50-х годов. Ю. Лебедев в этой связи пишет: «Знакомясь с письмами Тургенева 60-х годов, невольно замечаешь, как постепенно ослабевает вера автора «Записок охотника» в высокие нравственные качества русского мужика. В одном из писем срываются горькие слова: «Странное дело!.. Честности, простоты, свободы и силы нет в народе – а в языке они есть... Значит, будут и в народе»¹¹¹.

Год от года общественно-политическая ситуация в стране накалялась. Однако понимания выхода из кризисного состояния не было ни в либеральном, ни в революционно-демократическом лагере. При этом назревавший в конце 50-х годов и в особенности в связи с опубликованием романа «Отцы и дети» раскол между видными представителями двух литературных лагерей – Добролюбовым и Чернышевским, с одной стороны, и Тургеневым – с другой, вплоть до смерти Добролюбова в конце 1861 года усугублялся. Позиция революционных демократов все

¹¹⁰ Труайя А. Иван Тургенев. М.: Эксмо, 2005. С. 139.

¹¹¹ Лебедев Ю. Жизнь Тургенева. Всеведущее одиночество гения. М.: Центрполиграф, 2006. С. 430.

более склонялась к тому, чтобы любыми средствами вызвать в стране крестьянскую революцию. По этому поводу, кстати, произошел разрыв между Чернышевским и жившим в эмиграции Герценом. Так, специально приехавший в Лондон для беседы с Герценом Чернышевский не смог убедить издателя «Колокола» в том, что в России действительно назревает революция. В свою очередь Герцен не смог доказать революционному демократу, что загодя подталкивать крестьянство к бунту не только преждевременно, но и вредно и что освистывание либералов объективно играет на руку реакции.

Среди либералов одним из главных объектов нападок со стороны революционных демократов стал автор «Записок охотника». Взглядов своих на счет либеральной будущности России писатель никогда не скрывал и, в частности, открыто заявлял, что видит в русском дворянстве не только реакционность, но и его позитивную миссию и конструктивный вклад в историю России. Например, еще осенью 1859 года в своих спорах с Л. Толстым он говорил о роли дворянства в предстоящих реформах следующее: «Русский дворянин служил и служит – и в этом его сила. Владение крестьянами – явление случайное, вызванное не столько необходимостью, сколько неумением и недоразумением... Русский дворянин служит земле... Но есть разные службы. Было время, когда дворяне служили земле, умирая под стенами Казани, в степях Азовских; но не всегда одной крови требует от нас наше отечество; есть и другие жертвы, другие труды и другие службы – и наше дворянство не отказывается от них. Дворянство на Западе стояло впереди народа, но не шло впереди его; не оно его двигало, не оно его влекло за собою по пути развития. Оно, напротив, упиралось, коснело, отставало... У нас мы видим явление противоположное... дворянство наше, оно служило делу просвещения и образования. Наши лучшие имена записаны на его скрижалях. И сейчас, когда сам царь сливается с земским делом, призвание дворянства – следовать за царем»¹¹².

В таком идейно-психологическом климате 60-х годов и продолжались давние споры русских западников и славянофилов. И если первые не уставали настаивать на необходимости утверждения в России развивавшейся на Западе общественно-политической системы, основанной на собственности, экономической эффективности, свободе и правах человека и гражданина, то славянофилы, обуреваемые чувством ложно понятой национальной гордости, старались измыслить некий особый русский путь. Впрочем, время требовало конкретных ответов на конкретные проблемы дня – например, на вопрос об отмене крепостного права. И здесь сторонникам славянской идеи приходилось измысливать нечто почти невероятное.

Так, несмотря на признававшуюся славянофилами порочность системы крепостного права, представления о «милостивом господстве отцов-помещиков и сыновьем подчинении общинников-крестьян», они продолжали помещать в основу своей идеологии. Наряду с аграрным сервиллизмом идеология эта включала обоснования принципиально отличной от западной Европы русской «особости», содержала веру во всемирно-историческую миссию русского народа, якобы predeterminedенную ему самим Богом¹¹³. Эта примитивная казуистика не на шутку раздражала убежденного западника Тургенева, что и нашло свое отражение, в частности, в его новом романе «Дым» – романе наиболее полемичном и идеологически заостренном.

В отличие от прошлых романов, в которых герои делаются настоящими рациональными хозяевами лишь в финале (Лаврецкий – в «Дворянском гнезде», Аркадий Кирсанов – в «Отцах и детях»), главный герой «Дыма» – помещик Григорий Иванович Литвинов предстает перед читателем хозяином уже сформированным – в конце своей четырехлетней заграничной коман-

¹¹² Там же. С. 385.

¹¹³ Такая позиция не была необычной для русского общества середины XIX века. Достаточно сказать, что, познакомившись примерно в этот период с Л.Н. Толстым, Тургенев, к своему удивлению, обнаружил в нем человека, который с удовольствием играл роль не только завсегда цыганских кабаков и солдафона, но и пламенного общественного трибуна, видевшего спасение России в немедленном и полном разрушении европейской цивилизации. К тому же, рекомендуя себя в качестве либерала, Толстой накануне реформы все еще оставался на стороне крепостников-собственников (Там же. С. 101, 125).

дировки, в ходе которой он прилежно изучал в Германии, Бельгии и Англии агрономию и технологии сельскохозяйственного производства. Следует отметить, что решение «учиться с азбуки» на Западе к нему пришло не от скуки, а от желания действительно поставить в России эффективное хозяйство, принести пользу своим землякам, а может быть, и всему краю. При этом, что также значимо для понимания мировоззренческой направленности тургеневского романа, этот «рациональный хозяин» – не чистокровный дворянин. Отец его происходил из мелких чиновников и под влиянием европейски образованной, но плохо управлявшейся с хозяйством помещицы-жены часто при общении с крестьянами принужден был сдерживать свои старозаветные порывы. Так, обычно первой его внутренней реакцией на какую-либо хозяйственную оплошность было: «Эх! Взят бы, да выпорол!» Но, будучи уже до некоторой степени хозяином цивилизованным, вслух только произносил: «Да, да, это... конечно; это вопрос»¹¹⁴.

То, что Литвинов, по тургеневской классификации, «строитель» и в нем в известной степени заключена надежда писателя на конструктивное развитие России, верно отмечается в отечественном литературоведении. «В конце 60-х годов, по Тургеневу, на первый план как раз и вышла задача терпеливого и скромного практического труда. Но этот труд имел мало общего с типичным буржуазным предпринимательством, с жадой только личного обогащения», – отмечает, например, Ю. Лебедев¹¹⁵.

Вот как встраивает свои взгляды Тургенев в строй романного повествования. С первых глав он вводит своего героя-помещика в круг отдыхающих в Бадене русских славянофилов, занятых спорами о будущей судьбе родины. Что же представляют собой эти люди? Каков круг их интересов? О чем они говорят?

Как и положено кружку, члены которого претендуют на вселенскую миссию, одна из их ведущих содержательных интенций – возвеличивание своего лидера-гуру. Вот как говорит о нем встретившийся Литвинову один из адептов кружка, не преминувший пообедать за его, Литвинова, счет, некто Бамбаев: «Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо! Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о... о... о!..

– О чем это сочинение? – спросил Литвинов.

– Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бекля... только поглубже, поглубже... Все там будет разрешено и приведено в ясность.

– А ты сам читал это сочинение?

– Нет, не читал, и это даже тайна, которую не следует разглашать; но от Губарева всего можно ожидать, всего! Да! – Бамбаев вздохнул и сложил руки. – Что, если бы еще такие две, три головы завелись у нас на Руси, ну что бы это было, господи боже мой!»¹¹⁶

Далее следует встреча с «гуру». Поднявшись в гостиничный номер, Литвинов увидел Губарева – господина небольшого роста, помещичьей наружности – «почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкой шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом». Речей он не произносил, отделяясь ничего не значащими междометиями или словами типа: «мм... это... это заметить надо» или «тут... нужна другая мера». Зато за него говорили последователи и ученики. В этот вечер в салоне солировала некто Матрена Семеновна Суханчикова, которая пересказывала всяческие сплетни касательно особ как известных, так и малозначительных. Так, она говорила «о Гарибальди, о каком-то Карле Ивановиче, которого высекли его собственные дворовые, о Наполеоне III, о женском труде, о купце Плескачеве, заведомо уморившем двенадцать работниц и получившем за это медаль с надпи-

¹¹⁴ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1976. С. 11.

¹¹⁵ Лебедев Ю. Цит. соч. С. 489.

¹¹⁶ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1976. С. 14.

сю «за полезное», о пролетариате, о грузинском князе Чукчеулидзе, застрелившем жену из пушки, и о будущем России»¹¹⁷.

Однако у нее был и общественно полезный проект: «Надо всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос. У нас такой об этом был спор с Болеслав Стадницким. Болеслав Стадницкий чудная натура, но смотрит на эти вещи ужасно легкомысленно. Все смеется... Дурак!»¹¹⁸

Впрочем, в один из моментов общего разговора Губарев неожиданно вставляет несколько фраз. «Ммм... А община? – глубокомысленно произнес Губарев и, прикусив клочок бороды, уставился на ножку стола. – Община... Понимаете ли вы? Это великое слово! Потом, что значат эти пожары... эти... эти правительственные меры против воскресных школ, читален, журналов? А несогласие крестьян подписывать уставные грамоты? И, наконец, то, что происходит в Польше? Разве вы не видите, к чему это все ведет? Разве вы не видите, что... мм... что нам... Нам нужно теперь слиться с народом, узнать... узнать его мнение? – Губаревым внезапно овладело какое-то тяжелое, почти злобное волнение; он даже побурел в лице и усиленно дышал, но все же не поднимал глаз и продолжал жевать бороду. – Разве вы не видите...

– Евсеев подлец! – брякнула вдруг Суханчикова...»¹¹⁹

Впрочем, такой странный разговорный контекст ничуть не мешает посетителям салона адресоваться к Губареву с высочайшим почтением. «Замечательно, поистине замечательно было то уважение, с которым все посетители обращались к Губареву как наставнику или главе; они излагали ему свои сомнения, повергали их на его суд; а он отвечал... мычанием, подергиванием головы, вращением глаз или отрывочными, незначительными словами, которые тотчас же подхватывались на лету, как изречения самой высокой мудрости. Сам Губарев редко вмешивался в прения; зато другие усердно надсаживали грудь. Случалось не раз, что трое, четверо кричали вместе в течение десяти минут, и все были довольны и понимали»¹²⁰. Такова атмосфера салона, таково «содержание» произносимых в нем речей. Что же представители другого лагеря – западников?

Верный своему художественному приему – не осуждать, но демонстрировать, Тургенев уже в следующей главе знакомит читателя с представителем другой оппонирующей стороны – западником, отставным надворным советником Созонтом Ивановичем Потугиным.

Поскольку Потугин, так же как и Литвинов, был свидетелем «Вавилонского столпотворения» с Губаревым во главе, то первый естественный вопрос, который задал ему герой: отчего эти господа так хлопочут? «В том-то и штука, что они и сами этого не ведают-с», – последовал ответ. По мнению Потугина, вопрос о будущем и мировом значении России, причем «от яиц Леды, бездоказательно, безвыходно», – это какой-то типично русский пунктик национального сознания, как у англичан – экономический разговор, а у французов – разговор мужчин о «клубничке».

Что же в таких идейных междусобойчиках говорится о Западе? Он конечно же «гнилой». Но хоть бы действительно его презирали! А то – все фраза и ложь. «Ругать-то мы его ругаем, а только его мнением и дорожим, то есть в сущности мнением парижских лоботрясов»¹²¹.

«Отчего же столь влиятелен Губарев, не имеющий ни дарований, ни способностей?» – интересуется Литвинов. «А у него много воли», – следует ответ. «Мы, славяне, вообще, как известно, этим добром не богаты и перед ним пасуем. Господин Губарев захотел быть началь-

¹¹⁷ Там же. С. 24.

¹¹⁸ Там же. С. 21.

¹¹⁹ Там же. С. 22–23.

¹²⁰ Там же. С. 23–24.

¹²¹ Там же. С. 28.

ником, и все его начальником признали. Что прикажете делать?! Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь направление над нами власть возьмет... теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело темное; такая уж, видно, наша натура. Но главное дело, чтобы у нас был барин. Ну, вот он и есть у нас; это, значит, наш, а на все остальное нам наплевать! Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское уничижение. Новый барин народился – старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! Вспомните, какие в этом роде у нас происходили проделки! ...А народ мы тоже мягкий; в руки нас взять не мудрено. Вот таким-то образом и господин Губарев попал в барья; долбил-долбил в одну точку и продолбился. Видят люди: большого мнения о себе человек, верит в себя, приказывает – главное, приказывает; стало быть, он прав и слушаться его надо. ...Кто палку взял, тот и капрал»¹²². Далее Потугин останавливается на идеологии славянофильского движения.

«Удивляюсь я, милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надежды и чуть что, так на стену и лезут. Вот хоть бы славянофилы, к которым господин Губарев себя причисляет: прекраснейшие люди, а та же смесь отчаяния и задора, тоже живут буквой «буки». Все, мол, будет, будет. В наличности ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... Но постойте, потерпите: все будет. А почему будет, позвольте полюбопытствовать? А потому, что мы, мол, образованные люди, – дрянь; но народ... о, это великий народ! Видите этот армяк? Вот откуда все пойдет. Все другие идолы разрушены; будемте же верить в армяк. Ну, а коли армяк выдаст? Нет, он не выдаст... А стоило бы только действительно смириться – не на одних словах – да попризанять у старших братьев, что они придумали и лучше нас и прежде нас!»¹²³

На возражение Литвинова, что перенимаемое должно соответствовать местным российским традициям, климату, почве, Потугин резонно возражает, что по-иному и отбирать не имеет смысла: ведь перенимать-то станут не потому, что оно чужое. А по тому, что оно русским подходит. И вообще «бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы; точно так же как восторгаться до пены у рта тому, что мы, мол, русские, – способны одни праздные люди»¹²⁴.

Конечно, теперь, после отмены крепостного права много найдется пройдох и тупиц, которые с торжеством указывают на бедность крестьян после освобождения. Да ведь кто сказал, что к хорошему переходят через лучшее? Нет, через худшее – «через худшее к хорошему!».

В разговоре Потугин излагает свое кредо: «...я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, – цивилизации, – да, да, это слово еще лучше, – и люблю ее всем сердцем. И верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово: ци...ви...ли...зация (Потугин отчетливо, с ударением произнес каждый слог) – и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут... бог с ними!

– Ну, а Россию, Созонт Иваныч, свою родину, вы любите?

Потугин провел рукой по лицу.

– Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу.

Литвинов пожал плечами.

– Это старо, Созонт Иваныч, это общее место.

¹²² Там же. С. 28–29.

¹²³ Там же. С. 30.

¹²⁴ Там же. С. 32.

– Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались! Общее место! Я знаю много хороших общих мест. Да вот, например: свобода и порядок – известное общее место. Что ж, по вашему, лучше, как у нас: чиновачалие и безурядица? И притом разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов: презренная буржуазия, *souverainite du peuple* (главенство народа), право на работу, – разве они тоже не общие места?»¹²⁵

По свидетельству историков литературы, до известной степени Тургенев отождествлял себя со своим героем и потому излагаемые им мысли важны для понимания мировоззрения самого писателя. В чем же главный пафос его позиции?

Если попытаться взглянуть на спор западников и славянофилов беспристрастно, то приводимые западниками доводы не заслуживают того тотального неприятия, которое имело место в действительности. В самом деле, сомнительны постоянные славянофильские упования на некий природный ум россиян, который столь могуч, что не требует учения, их осанна так называемым «самородкам». По оценке Потугина, как правило, это «какое-то лепетанье спросонья, а не то полузвериная сметка», не более. По меньшей мере странно и методично повторяющееся при каждом мало-мальском случае желание любое действительное достижение или открытие тут же произвести в ранг высшего мирового достижения, поставить в пример другим народам. Насколько это правомерно и соответствует ли реальному вкладу в общую сокровищницу человечества?

«Посетил я нынешнею весной Хрустальный дворец возле Лондона; в этом дворце помещается, как вам известно (продолжает разговор с Литвиновым Потугин. – *С.Н., В.Ф.*), нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность – энциклопедия человечества, так сказать надо. Ну-с, расхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей; и подумал я в те поры: если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, – наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булабочки не потревожила бы, родная: все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут – эти наши знаменитые продукты – не нами выдуманы. Подобного опыта даже с Сандвичевскими островами произвести невозможно; тамошние жители какие-то лодки да копыя изобрели: посетители бы заметили их отсутствие. Это клевета! Это слишком резко – скажете вы, пожалуй... А я скажу: во-первых, что я не умею порицать, воркуя, а во-вторых, что, видно, не одному черту, а и самому себе прямо в глаза смотреть никто не решается, и не одни дети у нас любят, чтоб их баюкали»¹²⁶. И так далее в том же духе.

То, что у другой стороны спора – славянофилов – не нашлось резонных возражений, свидетельствует прежде всего тот факт, что, не оппонируя по существу, все свое несогласие с Потугиным – Тургеневым они заключили в возражение, что Тургенев-де смотрит на Россию издалека, почти как иностранец, не знает и не понимает ее. В художественной форме этот довод воспроизвел Ф.М. Достоевский, посоветовавший Тургеневу приобрести телескоп, чтобы из французского прекрасного далека лучше разглядывать своих современников в России. Более того. Тургеневский обличитель даже дошел до фраз: «...нельзя же слушать такие ругательства на Россию от русского изменника, который мог бы быть полезен. Его ползание перед немцами и ненависть к русским я заметил давно»¹²⁷.

Сказано язвительно и злобно. Но какое это имеет отношение к существу сформулированных тезисов? Получается, что аргументированно ответить нечего и правота в споре остается на стороне западника-Тургенева.

¹²⁵ Там же. С. 33.

¹²⁶ Там же. С. 85.

¹²⁷ Письмо Ф.М. Достоевского от 16 августа 1867 года (цит. по: *Труйя А.* Иван Тургенев. М.: Эксмо, 2005. С. 180).

Нарисованная автором «Дыма» картина общественной жизни России, представленная двумя ее ведущими идеологическими силами, была бы неполной без обозначения точки зрения власть имущих. В романе она дается следующей за главами о славянофилах и западниках – сценой так называемого генеральского пикника. Причем лица, его составляющие, по всей видимости, близко стоят к тем, кто принимал решения об отмене крепостного состояния, о реформах судебной и местного самоуправления. Генералы – из числа влиятельного властного, «вышесреднего» слоя, который, с одной стороны, вынужден был подчиняться монаршему своеволию, но, с другой стороны, не считал себя обязанным принимать царскую волю вплоть до изменения собственного образа мыслей. Тем более что царские решения чувствительно ударили по его благосостоянию.

Разговор сразу же касается существа реформы. «Мы разорены – прекрасно; мы унижены – об этом спорить нельзя; но, крупные владельцы, мы все-таки представляем начало... un principe (принцип). Поддерживать этот принцип – наш долг. ...Когда некоторое, так сказать, омрачение овладевает даже высшими умами, мы должны указывать – с покорностью указывать (генерал протянул палец), – указывать перстом гражданина на бездну, куда все стремится. Мы должны предостерегать; мы должны говорить с почтительною твердостью: «Воротитесь, воротитесь назад...» Вот что мы должны говорить.

...Генерал опять вежливо взглянул на Литвинова. Тот не вытерпел.

– Уж не до семибоярщины ли нам вернуться, ваше превосходительство?

– А хоть бы и так! ...надо переделать... да... переделать все сделанное.

– И девятнадцатое февраля?

– И девятнадцатое февраля, – насколько это возможно. ...А воля? – скажут мне. Вы думаете, сладка народу эта воля? Спросите-ка его...»¹²⁸

Откровенная речь генерала постепенно доходит до главной проблемы российской общественной жизни – ее развития толчком извне, в данном случае – монаршей волей ограничения средневековых порядков, а не присущими ей процессами внутреннего развития.

«Я сейчас сказал, что надобно совсем назад вернуться. Поймите меня. Я не враг так называемого прогресса; но все эти университеты да семинарии там, да народные училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга, tout ce fond du sac, la petite propriete, pire que le proletariat (все эти подонки, мелкие собственники, хуже пролетариата)... – voila ce qui meffrae... (вот что меня пугает)... вот где нужно остановиться... и остановить. ...*Не забудьте, ведь у нас никто ничего не требует, не просит. Самоуправление, например, – разве кто его просит? Вы его разве просите? Или ты? Или вы, mesdames? ...Друзья мои любезные, зачем же зайцем-то забегать?* (Выделено нами. – С.Н., В.Ф.) Демократия вам рада, она кадит вам, она готова служить вашим целям... да ведь это меч обоюдоострый. Уж лучше по-старому, по-прежнему... верней гораздо. Не позволяйте умничать черни да ввертеться аристократии, в которой одной и есть сила... Право, лучше будет. А прогресс... я собственно не имею ничего против прогресса. Не давайте нам только адвокатов, да присяжных, да земских каких-то чиновников, да дисциплины, – дисциплины пуше всего не трогайте, а мосты, набережные, и гошпитали вы можете строить, и улиц газом отчего не освещать?

...– De la poigne et des formes! (Сильная власть и обхождение!) – воскликнул тучный генерал, – de la poigne surtout! (сильная власть в особенности!). А сие по-русски можно перевести тако: вежливо, но в зубы!»¹²⁹

Изложенная в этой формуле позиция реальной российской власти – не фигура речи. Например, в истории центрального персонажа генеральского кружка – мужа Ирины генерала Ратмирова – автор приводит конкретный случай материализации этой позиции. Несмотря

¹²⁸ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1976. С. 60.

¹²⁹ Там же. С. 61–62.

на свойственную Ратмирову «легкую как пух примесь либерализма», это не помешало ему перепороть пятьдесят человек крестьян во взбунтовавшемся белорусском селении, куда его послали для усмирения.

Пребывание Литвинова за границей, в том числе и его учеба после краха отношений с Ириной, завершается возвращением в Россию. Едет он в деревню, где вплотную начинает заниматься устройством аграрных дел. В отцовском имении он застаёт расстроенное хозяйство и «без надежды, без рвения и без денег» начинает хозяйничать. Естественно, что применение приобретенных за границей знаний и навыков было отложено на неопределенное время. «Нужда заставляла перебиваться со дня на день, соглашаться на всякие уступки – и вещественные, и нравственные. Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумелый сталкивался с недобросовестным; весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно великое слово «свобода» носилось как божий дух над водами. Терпение требовалось прежде всего, и терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости подчас...

...Но минул год, за ним другой, начинался третий. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила в кровь и плоть: выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его врагам – ни явным, ни тайным. Сам Литвинов хотя и кончил тем, что отдал большую часть земли крестьянам исполу, т. е. обратился к убогому, первобытному хозяйству, однако кой в чем успел: возобновил фабрику, завел крошечную ферму с пятью вольнонаемными работниками, – а перебивало их у него целых сорок, – расплатился с главными частными долгами... И дух в нем окреп...»¹³⁰

Завершив этим, хотя и без детализации, «хозяйственную линию» романа, Тургенев не преминул дать свое видение и некоторой перспективы материализации в реальности идеологии славянофильства. Делается это эскизно, но главная мысль – полное ее совпадение с мировоззрением противников отмены крепостного права, проявленное, в частности, на «генеральском пикнике», очевидно. По ходу развития сюжета произведения случается так, что на одной из станций Литвинов встречает господина Губарева, возмущенного тем, что ему с братом не дают лошадей.

«– Па-адлецы, па-адлецы! – твердил он медленно и злобно, широко разевая свой волчий рот. – Мужичье поганое... Вот она... хваленая свобода-то... и лошадей не достанешь... па-адлецы!

– ...Бить их надо, вот что, по мордам бить; вот им какую свободу – в зубы...»¹³¹

Романом «Дым», который многие исследователи считают одним из лучших тургеневских произведений, после его выхода были недовольны все. Консерваторы – недоброжелательным изображением высшего общества, революционеры – невниманием к зарождающейся, по их мнению, народной революции, славянофилы – культурной «дискредитацией» России, ее «уничжительным» изображением в сравнении с Западом. И почти никто не заметил того конструктивного, «строительного» элемента, который вновь, как и в предыдущих романах, дал о себе знать в данном случае в истории жизненного дела Литвинова – хозяйствования в России. Впрочем, само дело было пока еще слишком незаметно, только зарождалось, а заложенное свободой семя только «давало росток». Но росток креп и в следующем, финальном произведении тургеневской романной эпопеи (а именно так, на наш взгляд, следует рассматривать эти шесть крупных произведений, концентрированно выражающих мировоззрение писателя) получил дальнейшее развитие.

¹³⁰ Там же. С. 161.

¹³¹ Там же. С. 163.

* * *

После отмены крепостного права некоторые общественные слои России начали пробовать свои силы в форматах низовой организационной работы, прежде всего с крестьянством. Так, в среде народников в конце 60-х – начале 70-х годов возникло так называемое хождение в народ. Общей для сторонников этой формы революционной организации в то время, как известно, была уверенность в некапиталистическом пути развития России, в неизбежности революционных преобразований в стране и в особой роли в этом процессе крестьян и общины. При этом если М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин высказывались за немедленное провоцирование бунта в крестьянской среде, за насильственный слом государственной машины, то сторонники П.Н. Ткачева в «подъем масс» не верили и отстаивали идеи заговора «революционного меньшинства». Что же до П.Л. Лаврова и его последователей, то свою цель они видели прежде всего в длительной пропагандистской работе в крестьянских массах.

Отдавая должное несомненной самоотверженности и идейному пафосу, присущему революционерам, Тургенев тем не менее стоял на более умеренных и, как показала дальнейшая российская история, более верных позициях. Предварив роман эпиграфом о том, что целина, «новья» требует от земледельца не работы сохой, которая лишь «царапает» землю, а глубоко забирающего плуга, в письме М.М. Стасюлевичу от 7 августа 1876 года он разъяснял: «...плуг в моем эпиграфе не значит революция – а просвещение; и самая мысль романа самая благонамеренная – хотя *глупой* цензуре может показаться, что я потакаю молодежи»¹³². В более раннем, сентябрьском письме 1874 года А.П. Философовой автор «Нови» высказывался еще более четко: «Народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего здорового развития, разложения и сложения», теперь «Базаровы не нужны», и, напротив, «нужно трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою без всякого блеску и треску – нужно уметь смиряться и не гнушаться мелкой и темной, и даже низменной работы... Что может быть, например, низменнее – учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т. д. ...Нужно одно сердце, способное жертвовать своим эгоизмом...»¹³³.

Впрочем, забегаая несколько вперед, скажем, что путь постепенной выработки в народе – как в его низших, так и в высших слоях – устойчивой привычки к каждодневному спокойному, методичному, аккуратному, то, что у нас, русских, называется «занудному» труду, путь этот в то время не имел в российском сознании какой-либо серьезной ценности. И потому Соломин, герой, олицетворяющий это постепенное, труженическое начало в тургеневском романе, оказался не только не популярен среди читателей, сколь, например, среди разночинцев и революционеров был популярен Базаров, но даже критикуем. Сам же роман, сводивший счеты с идеологией революционного нетерпения, исповедуемой народниками, с одной стороны, и изоляционистско-патриархальными интенциями реакционных славянофилов и правительственных адептов – с другой, подавляющим большинством российской читающей публики был дружно отвергнут. Все, как выразился Тургенев, принялись «бить его палками». И делалось это столь согласованно, что писатель даже засомневался в своей правоте. «Нет никакого сомнения, что, как ты пишешь, «Новья» провалилась, – высказывается он в письме к брату в марте 1877 года. – И я начинаю думать, что эта участь ее – заслуженная. Нельзя же предположить, чтобы все журналы вступили в некоторый заговор против меня; скорее должно сознаться, что я ошибся: взял труд не по силам и упал под его тяжестью. Действительно, нельзя писать о России, не живя в ней»¹³⁴.

¹³² Тургенев И.С. Собр. соч. М., 1949. Т. 11. С. 309.

¹³³ Там же. С. 290–291.

¹³⁴ Там же. С. 318.

Впрочем, дело, как нам представляется, было не в десятилетней тургеневской отлучке. Россия – не та страна, в которой способы и привычки хозяйствования, устойчивые формы поведения социальных слоев и национальное самосознание меняются быстро и радикально. Причина отвержения одного из центральных персонажей «Нови», впрочем, как и всего романа в целом, заключалась в том, что «герой» этот для России вовсе не героичен и уж тем более не централен. Действительно, выведенный писателем тип труженика был широко распространен в капиталистической Европе, для нее он был нормальным и обычным, а потому и центральным. И если Тургенева можно упрекнуть в его «незнании» России, так это только в том отношении, что, будучи убежденным сторонником рационального прогрессивного пути развития своей родины, он, может быть, мало это сознавая, к увиденному в России «зародышу» в лице Соломина-хозяина прибавил некоторую степень общности и «центральности», имеющей место в Европе и вовсе не свойственной почве русской.

Также надо отметить, что Соломин как персонаж получает иную трактовку, если смотреть на него не в рамках одного романа, а в череде всех шести произведений, в том числе и с точки зрения развития в каждом из них фигуры центрального героя с присущей ему своей собственной мерой «позитивного начала». Однако, подчеркнем еще раз, такой ракурс предлагается только нами, и он вовсе не принят в традиционном литературоведческом анализе. Так, такой тонкий знаток художественной прозы, как писатель Владимир Набоков, придерживался иного мнения на счет тургеневских героев. По его мнению, как мы отмечали, тургеневским персонажам не были свойственны такие качества, как «сила воли» и «неистовое хладнокровие», без которых надеяться на доведение до конца какого-либо благого дела в условиях российской действительности было нельзя.

Однако для России, в контексте имевшегося в ней в то время идеологического спектра, Соломин был персонаж чуждый и даже опасный. Народникам он не подходил, поскольку смысл их политического будущего состоял либо в мирно-постепенной, либо в насильственно-быстрой, но тем не менее радикализации крестьянства, в его доведении до революционного выступления. Со славянофильской идеологией Соломин – западник, рационалист и индивидуалист – не согласовывался по исходным определениям. Для правительственных же кругов, все более тяготевших к новым отечественным формам «либерализма» («вежливо, но в зубы»), он был опасен своим демократизмом и несомненной приверженностью принципу правового ограничения самовластия. Естественно, что в таком идейно-мировоззренческом контексте Тургенев оказывался писателем лишним и вредным, а потому и «чуждым», по приведенной оценке, например, Ф. Достоевского, российской жизни 70-х годов XIX столетия. Сделав эти предварительные замечания, перейдем к содержательно-мировоззренческому рассмотрению романа.

Так кто же эти люди, «хожденцы в народ», с которыми знакомит нас Тургенев уже в первой главе романа, – «поверхностно скользящая соха», «глубоко забирающий плуг» либо ни то, ни другое? Познакомившись с ними, мы сразу же вынуждены признать, что писатель представил нам своеобразных социальных мутантов, что видно не только по их происхождению и теперешнему бытию, но даже по поведению и самой внешности. Машурина – из небогатой южнорусской дворянской семьи, оставившая родителей и полуторагодичным безустанным трудом добившаяся в Петербурге родовспомогательного аттестата. Внешность ее более напоминает мужчину, нежели женщину. Паклин, как чертик из табакерки, не входящий, а выпрыгивающий в романное пространство через отверстие приоткрытой двери, и вовсе по своим физическим свойствам заслуживает сочувствия: он мал ростом, хил, хром, с короткими ручками и кривыми ножками. В дополнение, как бы в насмешку, он назван Силой Самсонычем и страстно, но безответно любит женщин. Сам же центральный герой – Алексей Дмитриевич Нежданов – полукровка-аристократ, живущий на подачке-«пансионе», рожденный от матери-дворянской и ее возлюбленного – хозяина-помещика.

Надо отметить, что и отношения между этими людьми складываются довольно странные. Они, например, не упускают случая по пустяку выказать друг перед другом свою «оригинальность» и на вопрос «как поживаете?» следует манерное и выпендренное объяснение, смысл которого – «видите же, что живу». Они также считают нормальным открыто высказывать друг другу свою неприязнь, держатся негативного мнения о нормальных общественных ценностях – например, о дружбе. Окружающий мир видится ими как неприятный и враждебный: «нельзя носа на улицу высунуть в этом гадком городе, в Петербурге, чтоб не наткнуться на какую-нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху! Жить здесь больше невозможно»¹³⁵. Объединяет же их одно: готовность действовать, «если выйдет распоряжение» от их революционного начальства. И начальство незамедлительно дает о себе знать в виде письма, представленного обществу революционеров их товарищем и начальником Остродумовым. При этом, когда послание было прочитано, его торжественно сжигают и зажженная спичка распространяет сильный запах серы, чем читателю дается ассоциативный намек на отнюдь не божеское, но дьявольское происхождение послания. То, что послание именно такого свойства, несколько позднее подтверждается словами Паклина: «...хотим целый мир кверху дном перевернуть...»¹³⁶

Впрочем, обычно сопутствующий появлению нечистого запаха серы вполне может быть отнесен не только к письму, но и к неожиданно возникающему на пороге квартиры Нежданова новому персонажу – его дальнему родственнику, высокому сановнику Борису Андреевичу Сипягину. Этот персонаж, наряду с его приятелем – помещиком-ростовщиком Семеном Петровичем Калломейцевым, представляет в романе новейшую правительственно-охранительную идеологию, смысл которой – в обосновании правомерности извлечения максимально возможной прибыли из бедственного пореформенного положения российской деревни.

В романе продолжается заявленная Тургеневым еще в «Рудине» линия противостояния двух враждебных друг другу идеологических лагерей русского общества. Только если в «Рудине» и «Дворянском гнезде» она развивалась в любовно-личностном ключе, а в «Накануне» и в «Отцах и детях» к этой линии добавилась тема противостояния славянофильства и западничества в их преломлении через столкновение «старого» и «нового», то в «Дыме» и в особенности в «Нови» в полном диапазоне начинает звучать идея «материализации» идеологических постулатов в реальных, организационно оформляющихся общественных силах. На наш взгляд, в «Нови» Тургенев первым в русской классической литературе, используя тему хождения революционеров в народ, ставит вопрос не только о содержании самой народнической идеологии, но и о правомочности и, что еще важнее, о нравственных основаниях такого рода действий. В дальнейшем, как будет показано, эта тема была глубоко разработана в творчестве ряда крупных русских литераторов, в том числе И.А. Гончаровым в «Обрыве» в образе Марка Волохова и в особенности в творчестве Н.С. Лескова (романы «На ножах» и «Некуда»).

У Тургенева, первым гениально и полно прозревшим нравственную ущербность того, что в XX столетии в развитом виде получило название «экспорта революции», не важно – из страны в страну или из города в деревню, глубокое неприятие вызывает сам лежащий в основании такого рода революционных действий принцип «цель оправдывает средства». Именно им руководствуется тайный вождь народовольцев – Василий Николаевич, письма и инструкции которого время от времени получают «герои-ходженцы». Именно к этому принципу время от времени прибегают в своих поступках Паклин и Маркелов. Вместе с тем справедливости ради следует отметить, что столь же нравственно беспринципны и их родовитые оппоненты, помещики Сипягин и Калломейцев.

¹³⁵ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1976. С. 179.

¹³⁶ Там же. С. 191.

Современного читателя, знакомящегося с описанными в романе эпизодами хождения в народ, как нам представляется, не должно покидать чувство глубокой алогичности происходящего. В самом деле, глубина непонимания народом произносимых «хожденцами» речей доходит до абсурда: так, в ответ на страстные лозунги, выкрикиваемые в толпе мужиков Неждановым, крестьяне, ничего не поняв, лишь замечают: сердитый барин. Впрочем, и сами романские герои-народовольцы (за исключением, может быть, Остроумова, о подробностях хождения которого Тургенев не сообщает, и Маркелова, который старался делать дело не за страх, а за совесть) в возможность донести до народа свои революционные идеи не верят. Паклин, например, прямо говорит: «...мы уходим теперь в тот же лес, сиречь в народ, который для нас глух и темен не хуже любого леса!»¹³⁷ В этой связи закономерен вопрос: для чего же народники делали свое дело? В чем могли видеть смысл самопожертвования?

На наш взгляд, на эти вопросы в тургеневском романе намечается три ответа. Первый, наиболее полный, вытекает из шеститомного цикла романной эпопеи. Так, продвигаясь от романа к роману, читатель постепенно осознает, что вековой конфликт между русскими земледельцами – крестьянами и помещиками в принципе может быть разрешен конструктивным образом. Только для этого необходим переход на новый, более высокий уровень хозяйствования, который бы отменял имевшуюся до 1861 года и во многом сохранившуюся в пореформенный период систему господства – подчинения. Только-только возникшая в системе российских общественных отношений свобода как принцип общественного и хозяйственного устройства и как фундаментальная норма социальной жизни для своего закрепления нуждалась во множестве конкретных реальных воплощений. К сожалению, за исключением отдельных указаний в романах Тургенева на то, что на основе этого принципа у русского помещика начинает складываться рациональное хозяйство, развернутых картин этого явления мы, к сожалению, не наблюдаем. Надо думать, что дело здесь не в том, что Тургенев не нашел для него подходящей формы художественного воплощения, а в том, что оно едва начало появляться и давало о себе знать лишь в неразвитом виде. Русские земледельцы-помещики – образованные в том числе – не слишком торопились материализовать идеи свободного производства в единственно возможной тогда форме капиталистического аграрного предприятия. Естественно, что говорить о каком-либо движении в этом направлении со стороны крестьян и вовсе не приходилось. Так вот, интуитивно сознавая возможность появления новых хозяйственных форм, но не наблюдая их примеров в действительности, народники отождествляли их с собственными умозрительными представлениями и, желая их скорейшей материализации, сами шли в народ.

Второй ответ на вопрос о смысле хождения в народ, также намеченный у Тургенева, заключается, на наш взгляд, в следующем. Достигать цели «будоражить народ», постепенно приучая его к возможности новых, ранее невысказанных форм поведения, «долбить», с тем чтобы когда-нибудь, пусть в отдаленном будущем, «продолбиться», – на эту заведомо безнадежную деятельность могли подвигнуться лишь люди особого склада и типа – своеобразные «мутанты-маргиналы», которым в нормальной жизни, как они понимали, все равно не удалось бы жить нормально. И берутся они за заведомо безнадежное дело, во-первых, потому, что понимают невозможность для себя обычной жизни (вспомним тоскливую безответную влюбленность в Нежданова Машуриной, откровения уродца-Паклина или недалекость и хроническую человеческую неудачливость и безответную влюбленность в Марианну Маркелова – «существа тупого, но, несомненно, честного и сильного» ^[13]). И во-вторых, потому, что в заведомо авантюристическом деле для них хоть в виде лучика, но все же есть надежда на успех или на будущую благодарность от общества за то, что они были первопроходцами. Эти мысли могли наполнить и придать их жизни сколько-нибудь конструктивный смысл. Таким образом, следующий ответ на вопрос о смысле хождения в народ состоит в том, что хождение было результатом

¹³⁷ Там же. С. 192.

наличия особого типа людей. (В биологии этому явлению может соответствовать случай, когда появившийся в результате генетической мутации орган определяет возникновение новой для организма функции.)

И наконец, третий ответ отличается от первых двух тем, что он существует лишь в благородном порыве, исключительном индивидуально-нравственном намерении, но не в массовом виде. В романе «Новь» носитель его – Марианна, сестра мужа Сипягиной. Персонаж этот – традиционный тургеневский тип чистой русской девушки, которая, узнав о задаче, за решение которой взялся Нежданов, тут же решает жертвенно помогать ему: «...я в вашем распоряжении ...я хочу быть тоже полезной вашему делу ...я готова сделать все, что будет нужно, пойти, куда прикажут ...я всегда, всюю душою желала того же, что и вы...

...Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной – вот чем она томилась»¹³⁸.

Примечательно, что мотив жертвенности, труда на благо народа, впервые зазвучавший в классической прозе Тургенева в середине 70-х годов, не исчез и в начале XX века. Вспомним рефрены чеховских героинь в его рассказах и повестях, в пьесах «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Их продолжительное, более трех десятилетий длящееся звучание – лучшее доказательство замедленности процессов течения русской хозяйственной и общественной жизни, малости предпринимаемых нацией усилий для выхода на дорогу рационального хозяйствования, еще одно доказательство неправоты Достоевского, упрекнувшего Тургенева в незнании России. И предпринимавшиеся народниками попытки революционного ускорения этих процессов делу рационального хозяйственного развития пользы не принесли. Эффект от них, к сожалению, был иной.

Безнадежность дела со стороны народников еще более укрепляется и качеством тех персонажей, представленных в романе прежде всего в среде крестьян, с которыми они встречаются и на которых всерьез прежде всего рассчитывают. Найти сочувствующих или склонных внять революционной агитации, оказывается, довольно сложно. Так, прибыв в имение Сипягина и осмотревшись, Нежданов заключает, что мужики, отделенные от бывшего барина, недоступны, а у находящихся рядом дворовых людей «уж очень пристойные физиономии». Не обнадеживает в этом отношении Нежданова и Маркелов. «Народ здесь довольно пустой, – продолжал он, – темный народ. Поучать надо. Бедность большая, а растолковать некому, отчего эта самая бедность происходит»¹³⁹. Задержавшись у Маркелова, Нежданов стал невольным свидетелем и собственного бестолкового общения с крестьянами новоиспеченного народника, а также его раздражения. Нежданову он сетует на мужиков: «Как ты с этими людьми ни толкуй, сообразить они ничего не могут – и приказаний не исполняют... Даже по-русски не понимают. Слова «участок» им хорошо известно... а «участие»... Что такое участие? Не понимают! А ведь тоже русское слово, черт возьми! Воображают, что я хочу им участок дать! (Маркелов вздумал разъяснить крестьянам принцип ассоциации и ввести ее у себя, а они упирались. Один из них даже сказал по этому поводу: «Была яма глубока... а теперь и дна не видать...», а все прочие крестьяне испустили глубокий, дружный вздох, что совсем уничтожило Маркелова.)»¹⁴⁰

Впрочем, некоторые кадровые наметки для пропагандистской деятельности у Маркелова, как он сам считает, есть. Это «дельный малый» буфетчик Кирилл (в этом месте следует авторская ремарка: «Кирилл этот был известен как горький пьяница»), а также Еремей из деревни Голоплек. Впоследствии окажется, что именно этот Еремей, коего Маркелов считал «лицетворением русского народа», был в числе первых, кто выдал его властям. Впрочем, в своей неудаче Маркелов винит прежде всего самого себя: «...это я виноват, я не сумел; не то я сказал, не так принялся! Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или

¹³⁸ Там же. С. 258.

¹³⁹ Там же. С. 228.

¹⁴⁰ Там же. С. 238.

упираться – пулю ему в лоб! Тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот права жить не имеет... Убивают же шпионов, как собак, хуже, чем собак!»¹⁴¹

Свой опыт общения с крестьянами с целью привить им революционные взгляды вскоре появляется и у Нежданова. Однако между ним и земледельцами – наполовину дворянин это явственно чувствует – был своеобразный ров, через который он никак не мог перескочить. В разговорах он вроде бы даже робел и перед пьяницей Кириллом, и перед Менделем Дутиком и кроме очень общей и короткой ругани от них ничего не услышал. Еще один крестьянин – Фитюев, также рассматривавшийся в качестве потенциального народного революционера, просто поставил Нежданова в тупик: оказалось, что у него мир отобрал надел, потому что Фитюев, здоровый мужик, оказывается, «не мог работать» и кончил тем, что днями бродил по деревне и просил «грошика на хлебушко». Фабричный народ тоже «не дался» Нежданову. Все эти люди были либо «ужасно бойкие», либо «ужасно мрачные», и с ними тоже ничего не вышло.

Неутешительный диагноз о готовности крестьянства к революционным действиям подтверждает Соломин. И говорит он об этом в разговоре с Маркеловым мягко и с усмешкой – как о деле заведомо пустом: «Мужики? Кулаков меж ними уже и теперь завелось довольно и с каждым годом больше будет, а кулаки только свою выгоду знают; остальные – овцы, темнота». Но тут же он обнаруживает и серьезное негодование и даже ударяет кулаком по столу, когда слышит о какой-то несправедливости на суде, о притеснении рабочей артели¹⁴². В этом эпизоде Тургенев, в частности, проявляет и свою убежденность в эффективности и общественной полезности исключительно легитимных способов улучшения действительности, свое категорическое неприятие революционного авантюризма.

Также важно получить ответ на вопрос о том, что представляет собой та общественная среда, которая отчасти и составляет российское общество? Ответу на этот закономерный вопрос автор «Нови», в частности, посвящает главу, которая представляет собой почти что продолжение гоголевских «Старосветских помещиков», чуть ли не с восемнадцатого века сохранившихся в России в совершенно неизменном виде. С другой стороны, логично предположить, что эти образы также нарисованы западником-Тургеневым в контексте его продолжающейся явной и скрытой полемики со славянофилами. В подтверждение этого приведем кажущееся нам верным небольшое лингвистическое доказательство.

Одним из ключевых славянофильских понятий 30–40-х годов, как известно, было понятие «русская старина», которое в разных контекстах, но неизменно как идеал, к которому следует стремиться России, обнаруживалось в текстах Хомякова, Киреевского, Аксакова¹⁴³. Так вот, описывая быт своих «старосветских помещиков» – Фимушку и Фомушку Субочевых, Тургенев на трех страницах текста более десяти раз (!) употребляет слово «старый» и производные от него эпитеты: «старинные обитатели», «старость», «старик», «старинный быт», «старенький альбом», «старинные кушанья», «старинные романсы», «старые времена», «старенький дом». К этому можно добавить и близкие синонимы – «древний», «стертый от времени» и др. Обратив внимание на эту лингвистическую особенность романа, мы пришли к выводу, что сделано это вовсе не случайно. Было бы странно полагать, что непревзойденный мастер слова, каким, по общему мнению, без сомнения, был Тургенев, этот чародей русской речи, намеренно стандартизировал и обеднял свой язык без какой-то специальной цели. Тем более что ни в одном из прочих своих произведений к этому приему Тургенев более не прибегал. На наш взгляд, в этой нарочитой речевой стандартизации слышится отголосок полемики со славянофилами, с их слепой любовью к русской старине.

¹⁴¹ Там же. С. 404.

¹⁴² Там же. С. 264–265.

¹⁴³ Более подробно об этом см. соответствующую главу I тома нашего исследования. – С.Н., В.Ф.

Итак, что же за персонажи дворяне Субочевы и чем важны для рассматриваемых нами проблем? Примечательно, что в повествование они вводятся Паклиным и, как представляется, потому, что для него, человека убогого, именно этот мир является наиболее благоприятным и добрым. «Оазис» Субочевых (термин, придуманный Паклиным) – своего рода богадельня, в которой хорошо именно обиженным жизнью людям. И именно такие люди и населяют этот мир. Кроме уродца Паклина, это его горбатая сестра Снандулия, а также карлица Пифка.

Способ жизнепрживания помещиков Фимушки и Фомушки Субочевых – не исключение, а довольно типичное явление русской действительности, к которому, как отмечает Тургенев и что важно для характеристики тогдашнего русского мирознания, другие жители городка относятся с уважением. Для чего же Паклин знакомит начинающих революционеров с этим явлением? На наш взгляд, ответ состоит в том, что своим поступком маргинал Паклин дает народникам один из немногих дельных советов, которые им не давались ранее: до того как затевать ломку общественной жизни, нужно оглядеться вокруг себя, попытаться понять, из кого состоит современное общество, что представляет собой российский мир. И хотя совет напрасный, но он звучит. «...Представь: оазис! Ни политика, ни литература, ни что современное туда и не заглядывает. Домик какой-то пузатенький, каких теперь и не видать нигде; запах в нем – антик; люди – антик; воздух – антик... за что ни возьмись – антик, Екатерина Вторая, пудра, фижмы, восемнадцатый век! Хозяева... добры до глупости, до святости, бесконечно! ...Блаженные!

...Вот вы, господа, собираетесь теперь на великое дело, быть может, на страшную борьбу... Что бы вам, прежде чем броситься в эти бурные волны, окунуться...

– В стоячую воду? – перебил Маркелов.

– А хоть бы и так? Стоячая она, точно; только не гнилая. Такие есть степные прудики; они хоть и не проточные, а никогда не зацветают, потому что на дне у них есть ключи. И у моих старичков есть ключи – там, на дне сердца, чистые-пречистые... Уж одно то: хотите вы узнать, как жили сто, полтора года тому назад? Так спешите, идите за мною»¹⁴⁴.

Примечательно, что наиболее активное желание познакомиться с этим явлением российской действительности изъявляет не «революционер» Маркелов, а «демократ-постепеновец», каким обнаруживает себя деловой человек Соломин. И это естественно, ведь Соломину жизнь интересна потому, что для продуктивной деятельности, в контексте этой жизни, ее надо знать. Маркелову же, собирающемуся жизнь ломать, ее знание не только не нужно, но, кто знает, может даже и навредить. Вдруг в ней обнаружится то, что не согласуется с его представлениями о «должном» и это обнаруженное будет столь сильно и так овладеет им, что понадобится свои революционные представления переосмысливать или даже менять? А ведь они – часть принятой «товарищами» революционной идеологии, реализация которой контролируется революционным начальством, и любое отступление от нее будет рассматриваться как ренегатство.

Итак, что же паклинские знакомцы? Муж и жена (Фимушка и Фомушка) происходили из «коренного», подчеркивает Тургенев, дворянского рода, всю жизнь прожили на одном месте и никогда не изменяли ни своего образа жизни, ни привычек. Их ближайший круг – дворовые люди – за прошедшие десятилетия также нисколько не изменились, и в ответ на то, что «для всех крепостных вышла воля», их старый слуга Каллионыч, например, отвечал, «что мало ли кто какие мелет враки; это, мол, у турков бывает воля, а его, слава богу, она миновала»¹⁴⁵.

Сами Фимушка-Фомушка живут примерно в таком же ими самими сотворенном, не имеющем отношения к реальности мире. В этом мире у них есть даже свои собственные слова. Так, жалуясь, Фомушка сообщает гостям, что «зашибил курпей». То, что курпей – это кисть на казачьей или черкесской шашке и ее он никак не мог «зашибить», ему не важно: слово это он

¹⁴⁴ Там же. С. 273–274.

¹⁴⁵ Там же. С. 276.

вставил в свой собственный жизненный контекст, приспособил для собственной системы понятий, и оно ему и его ближнему кругу исправно служит. Со «своими» понятиями и Фимушка. Так, вспоминая о французе, который был у них в доме, когда она была ребенком, она говорит, что их француз был хороший, а теперь французы, «должно быть, все презлые стали». И такого «представления» ей для ее жизни вполне достаточно.

Мирок Фимушки-Фомушки только на первый взгляд может показаться неустойчивым или незащищенным по причине своей древности. На самом деле это не так. Как только Маркелов со свойственной ему туповатой прямоотой вдруг берется обличать бесцельное и недоброе существование хозяев «оазиса», он тут же получает отпор прежде всего от пригретых Субочевыми приживалок. Да и сам Фомушка вдруг находит слова для защиты себя и жены.

Завершается глава о посещении восемнадцатого века описанием того, каково с позиций этого века может быть отношение к затеваемому революционному делу и даже некоторого исторического суда над ним. Паклин просит Фимушку погадать, но она, начав, вдруг бросила карты и без них определила, кто есть кто из навестивших их гостей и какова будет их дальнейшая судьба. При этом о Маркелове она сказала, что он «горячий, погубительный человек», о Соломине – «прохладный, постоянный», о Паклине – «вертопрах», а что касается центрального героя романа – Нежданова, то его она назвала человеком «жалким». Согласимся, что оценки оказались точны и полностью подтвердились. Финал же этому пророчеству кладет полоумная карлица, рьяная защитница хозяев, кричащая вслед уходящим гостям: «Дураки, дураки!» Не поняли, дескать, они восемнадцатого века и тем самым века нынешнего, в коем многое присутствует из старых времен. И обе мысли, надо признать, – правда.

Посетив век восемнадцатый, начинающие революционеры отправляются в век двадцатый, который для Паклина олицетворяется купцом Голушкиным. Знакомство с этим персонажем особенно интересно потому, что герои из торговой буржуазии в романах Тургенева довольно редки, и его мнение об этой еще одной «революционной надежде» народников вдвойне интересно. Итак, Голушкин происходил из среды староверов, но с их традиционными трудовыми качествами ничего общего не имел. Это, напротив, был тип русского эпикурейца, то есть он много и без разбора ел, отчаянно пил, а пуще всего бахвалился. «Жажда популярности была его главной страстью: греми, мол, Голушкин, по всему свету! То Суворов или Потемкин – а то Капитон Голушкин! Эта же самая страсть, победившая в нем прирожденную скупость, бросила его, как он не без самодовольства выражался, в оппозицию (прежде он говорил просто «в позицию», но потом его научили) – свела его с нигилистами: он высказывал самые крайние мнения, трунил над собственным староверством, ел в пост скоромное, играл в карты, а шампанское пил, как воду»¹⁴⁶.

Знакомясь с посетившими его «передовыми молодыми людьми», он не преминул сообщить, что даже губернатор перед ним заискивает. Меж тем, будучи взят под стражу одновременно с Маркеловым, он, в отличие от отставного офицера, сразу стал «валиться в ногах». Столь же «надежен» и рекомендуемый им для общего дела «прозелит» – прилизанный чахоточный человечек с кувшинным рыльцем, оказавшийся голушкинским приказчиком Васей.

В довольно бессвязной (из-за количества выпитого) застольной беседе гостей и хозяина неожиданно возник довольно существенный для тактики народнического движения вопрос о степени решительности планируемых действий. При этом даже обычно молчавший Соломин считает важным заявить, что их акции должны иметь постепенный характер, но если раньше постепенные меры вводились сверху, то теперь настает время инициировать их снизу. Мысль эта поддержки не нашла, и на нее последовало замечание Маркелова, что нам постепен-

¹⁴⁶ Там же. С. 267–268.

цев не нужно. Голушкин тут же поддержал его: «Не нужно, к черту! Не нужно... надо разом, разом!»¹⁴⁷

Этим визитом и заканчивается «пропащий», как выразился Соломин, день будущих «хожденцев» в народ. Прощаясь и направляясь в «оазис» к Фомушке и Фимушке, Паклин итожит: «И там чепуха – и здесь чепуха... Только та чепуха восемнадцатого века ближе к русской сути, чем этот двадцатый век»¹⁴⁸. Этим финалом и завершается знакомство читателя с той общественной средой, в которой завтрашние революционеры намерены возбуждать антиправительственные настроения и даже антимонархические действия.

К этой теме, однако, Тургенев счел необходимым добавить некоторые собственные мысли о русском народе, поместив их в финальный, подводящий итог всем событиям диалог Паклина и Машуриной ^[14]. «...Мы, русские, какой народ? Мы все ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь – и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! Только, батюшка, рви зуб!! Это все – леность, вялость, недомыслие!»¹⁴⁹

Все это верно. Но есть ли этому альтернатива? Есть. И она, согласно Тургеневу, в Соломине, который из описанной в романе народовольческой истории сумел вывернуться и построил в Перми на артельных началах собственный завод. И верно о нем говорит Паклин: «Такие, как он – они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусишь, а они – настоящие, поверьте; и будущее им принадлежит. Это – не герои; ...теперь только таких и нужно! Вы смотрите на Соломина: умен – как день, и здоров – как рыба... Как же не чудно! Ведь у нас до сих пор на Руси как было: коли ты живой человек, с чувством, с сознанием – так непременно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тем же болеет, чем и наше, – и ненавидит он то же, что мы ненавидим, да нервы у него молчат и все тело повинуетя как следует... значит: молодец! Помилуйте: человек с идеалом – и без фразы; образованный – и из народа; простой – и себе на уме... Какого вам еще надо? ...Знайте, что настоящая, исконная наша дорога – там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины!»¹⁵⁰

Итак, в последнем, шестом романе Тургенев, похоже, все-таки дает развернутый содержательный ответ на сформулированные в первых романах вопросы: «как возможно позитивное преобразование российской действительности?» и «когда в России появятся настоящие люди?» Имя этому ответу – Соломин¹⁵¹.

Однако, прежде чем приступить к рассмотрению этого персонажа и связанных с ним идей, обратимся к редкому и потому вдвойне ценному писательскому признанию, в котором содержится формулировка романа в целом: «Молодое поколение было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников – что, во-первых, несправедливо, – а во-вторых, могло только оскорбить читателей-юношей как клевета и ложь; либо это поколение было, по мере возможности, возведено в идеал, что опять несправедливо – и сверх того, вредно. Я решился выбрать среднюю дорогу – стать ближе к правде; взять молодых людей, большей частью хороших и честных – и показать, что, несмотря на их честность, *самое дело их так ложно и не жизненно* (выделено нами. – С.Н., В.Ф.), что не может не привести их к полному фиаско. Насколько мне это удалось – не мне судить; но вот моя мысль... Во всяком

¹⁴⁷ Там же. С. 292.

¹⁴⁸ Там же. С. 294.

¹⁴⁹ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1976. С. 425–426.

¹⁵⁰ Там же. С. 428–429.

¹⁵¹ О произведениях «Дым» и «Новь», как и предыдущих романах Тургенева, также следует привести мнение М.М. Бахтина. Оно не слишком лестно. В том числе это относится и к их центральным персонажам – Литвинову и Соломину. О первом Бахтин говорит, что это всего лишь человек, который «стремится заняться маленьким делом». О втором и того уничижительнее: «Это – просто крепкий, цельный и серый человек» (см.: Бахтин М.М. Цит. соч. С. 221–222).

случае, молодые люди не могут сказать, что за изображение их взялся враг; они, напротив, должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне – если не к их целям, то к их личностям. И только таким образом может роман, написанный для них и о них, принести им пользу.

Я предвижу, что на меня посыплются упреки из обоих лагерей; но ведь то же самое случилось и с «Отцами и детьми»; а между тем изо всего моего литературного прошлого я имею причины быть довольным именно этой повестью...»¹⁵² Действительно, упреки посыпались и справа, и слева, и от правительственных кругов. И относились они не только к видению писателем стоящих перед страной проблем или к изображению народников, но и к позитивному персонажу романа – Соломину.

Из всех героев шести романов Тургенева считать именно Соломина несомненно позитивным персонажем, с которым автор связывал свои представления о будущем России, – общепризнанная среди исследователей точка зрения. Некоторые даже, как, например, Т.Г. Масарик, полагают, что этим образом писатель представил как бы «второе, исправленное, издание Базарова»¹⁵³. Такое суждение нам не кажется верным, поскольку оно предполагает, что следующим персонажем автор как бы отвергал или – пусть даже в гегелевском смысле – «снял» предыдущий. Более правильным мы считаем следующее представление. Посредством каждого созданного образа, тем более претендующего на позитивность, Тургенев старался рассмотреть систему всех общественных связей, которые с этим образом сопрягались. Этим путем он, во-первых, намеревался показать все многообразие общественной реальности и, во-вторых, на этом фоне позволить читателю решать вопрос о жизненности или нежизненности тех смыслов и ценностей, которые этот образ нес в себе. Так, возвращаясь к личности Базарова, мы позволим себе еще раз повторить одну из наших мыслей о том, что в деловом отношении Базаров никакой не нигилист, а, напротив, трудоголик и профессионал, и его трагедия как раз и состоит в том, что в системе российской практической жизни для него нет места. Система его отвергает, и отвергает именно своим феодальным, примитивным, с позиций капитализма – варварским, антикультурным содержанием. Согласимся, что в деловых проявлениях Соломину «улучшать» или «исправлять» Базарова нечего. Базарову, в отличие от Соломина, просто не хватило жизненного времени, чтобы стать «строителем», каким изображен позитивный герой «Нови». И потому Соломина в его практической деятельности можно считать базаровским содержательным продолжением.

Итак, управляющий фабрикой Василий Федотыч Соломин – сын дьячка, сменивший возможный учительский или священнический путь на математику и механику и достигший на нем такого успеха, что получает возможность в течение двух лет пополнять свое техническое и коммерческое образование в Манчестере. Возвратившись из капиталистической Англии в феодальную Россию, Соломин как вполне сформировавшийся западник отчетливо видит ошибочность не только предлагающихся славянофилами возможных путей дальнейшего развития страны, но и конкретных заблуждений народников, желающих «ускорить» процесс российской общественной эволюции посредством революционизирования крестьян.

Для практика и прагматика Соломина очевидна бессмысленность «хождения» в народ в народнической интерпретации. Его путь – постепенная легальная работа с «низамы» – через школу, больницу, судебную защиту прав трудящихся. При этом не факт, что такого рода деятельность приведет Соломина к социализму, как полагает, например, в своем исследовании Т.Г. Масарик. И уж тем более не является Соломин социалистом в период, изображаемый в романе¹⁵⁴. Да и Тургенев, чьи взгляды в «Нови» в существенной мере передаются через Соло-

¹⁵² Из разговора при встрече со Стасюлевым в Буживале осенью 1875 года. Цит. по: *Лебедев Ю.* Жизнь Тургенева. Всеведущее одиночество гения. М.: Центрполиграф, 2006. С. 536.

¹⁵³ *Масарик Т.Г.* Цит. соч. Кн. III. Ч. 2–3. С. 322.

¹⁵⁴ Там же. С. 324.

мина, не только не проповедует социалистические начала, но и выступает даже против куда менее революционного славянофильского проекта. Так, автор косвенно полемизирует, например, с А.И. Герценом о славянофильской «троеручице» (земство – артель – община). В одном из писем он, в частности, особенно критически отзывается о русской артели: «Что до артели – я никогда не забуду выражения лица, с которым мне сказал в нынешнем году один мещанин: «Кто артели не знал, не знает петли». Не дай бог, чтобы бесчеловечно эксплуататорские начала, на которых действуют наши «артели», когда-нибудь применялись в более широких размерах! «Нам в артель его не *надьить*: человек он хоша не вор – да безденежный и поручителев за себя не имеет, да и здоровьем ненадежен – на кой он ляд!» Эти слова можно слышать сплошь и рядом...»¹⁵⁵

В принципиально важном для идейного содержания романа разговоре Соломина с Марианной о труде Тургенев подает труд как универсальное средство не только против воспитанных иноземным владычеством и крепостничеством традиционных русских «болячек» – лени, вялости, скуки, но и против нового недуга – революционного зуда: «Как же вы себе это представляете: *начать*? Не баррикады же строить со знаменем наверху – да: ура! За республику! Это же и не женское дело. А вот вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вам это будет, потому что не легко понимает Лукерья и вас чуждается, да еще воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучаетесь; а пока – ребеночка ее помоеете или азбуку ему покажите, или больному лекарство дадите... вот вам и начало... По-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать – жертва, и большая жертва, на которую немногие способны.

...Я бы хотела оправдать ваши ожидания, Соломин... а там – хоть умереть!
...– Нет, живите... живите! Это главное»¹⁵⁶.

Соломину, в отличие от народников, нет нужды ходить в народ, «опрощаться», стараться «слиться с ним». Все эти теоретические умствования и любительские спектакли с переживаниями в «народное», изобретенные любителями «конструирования» действительности вне зависимости от того, кто они – славянофилы или западники, излишни для нормального труда, в котором и у низового «народа», и у управляющих, у каждого есть свое, определенное логикой общего дела собственное место. Вот, например, эпизод, который приводит Тургенев в начале второй части романа – о посещении мануфактуры англичанином: «Хорошие, хотя и не совсем обыкновенные, отношения существовали между Соломиным и фабричными: они уважали его как старшего и обходились с ним как с равным, как со своим; только уж очень он был знающ в их глазах! «Что Василий Федотов сказал, – толковали они, – уж это свято! Потому он всяку мудрость превзошел – и нет такого агличанина, которого он бы за пояс не заткнул!» Действительно: какой-то важный английский мануфактурист посетил однажды фабрику; и от того ли, что Соломин с ним по-английски говорил, или он точно был поражен его сведениями – только он все его по плечу хлопал, и смеялся, и звал с собою в Ливерпуль; а фабричным твердил на своем ломаном языке: „Караша оу вас эта! Оу! Караша!“ – чему фабричные в свою очередь много смеялись не без гордости: „Вот, мол, наш-то каков! Наш-то!“»¹⁵⁷

Вместе с тем это народное расположение не подвигает Соломина к каким бы то ни было ответным реверансам в его, народа, сторону. Напротив, он трезво судит о народе и не призывает его искать искусственных путей избежать дальнейшей трудной судьбы, хотя бы в вопросе о земельной собственности. Он понимает, что у всякого исторического явления есть свое время и место, и ничто не может возникнуть неизвестно откуда, не вовремя или из ничего. Так, в ходе застольной беседы у Сипягиных Соломин трезво оценивает перспективы коммерческого

¹⁵⁵ Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 8. С. 84–85.

¹⁵⁶ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1976. С. 360–361.

¹⁵⁷ Там же. С. 310.

земельного передела в России в недалеком будущем: земля перейдет от дворян к скупающим ее купцам. Будет ли от этого народу лучше? Вряд ли. Народ в России все еще «соня», и, пока он не проснется и сам не осознает своих прав, говорить о движении низов нельзя. Кроме того, есть и еще одна немаловажная особенность российского народа, о которой говорит Тургенев и за что его должны были сильно не любить славянофилы: «...русские люди – самые изолгавшиеся в целом свете, а ничего так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей»¹⁵⁸.

Жаль, добавим мы, что это уважение и сочувствие часто возникает постфактум, остается лишь в сфере эмоций, редко осмысливается и почти никогда не воплощается в практические дела. Ведь чтобы переводить уважение и сочувствие в практические дела, требуется «занудная» работа, а нам, как правило, хочется всего и сразу. И в этом нам от купца Голушкина привет.

¹⁵⁸ Там же. С. 325.

Глава 3. Русский человек в деле и недеянии: опыт исследования И.А. Гончарова

Рассмотренный нами ранее материал в его преломлении через тексты русской классической литературы первой половины XIX века позволил выделить значимые сферы, в которых обнаруживает себя русское мировоззрение вообще и мировоззрение земледельца в частности. Таковыми, напомним, были отношения земледельцев с природой и природа (страсти), которыми обуреваемы сами земледельцы; отношения крестьян и помещиков между собой; отношения с городом и властью, религией и культурой; представления о собственности, праве и нравственности. При этом исследованный литературный материал показал, что начиная с Пушкина и Гоголя, а также в последующих произведениях русских классиков их герои все полнее проявляют себя как индивидуальности, выделяясь из общей массы персонажей, в их образах начинают проглядывать лица конкретных личностей с собственным языком, жизненной историей и характерным поведением. Так, у Тургенева герои с их неповторимым и глубоким мировоззрением, будь то немой крестьянин Герасим в одном из лучших, по мнению М.М. Бахтина, произведений Тургенева¹⁵⁹ или помещик Лаврецкий, обретают такую силу художественного выражения, что сами, без вмешательства автора, акцентированно передают основное содержание его замысла. Богатство чувственного и духовного мира личности оттесняет на второй план внешний событийный ряд, становится главным содержанием литературного произведения, делает его философичным, предоставляет материал для постановки мировоззренческих вопросов¹⁶⁰.

Параллельно с духовными поисками литературы шла и философская работа, сфокусировавшаяся в двух исследовательских направлениях – западничестве и славянофильстве. Здесь, однако, большее внимание уделялось не мировоззренческому содержанию становящейся личности русского земледельца – помещика и крестьянина, но глобальным вопросам общественного развития, историческим судьбам и положению России в мире. К этим темам, начиная с 50-х годов, по мере развертывания в Европе революционных событий, стала все активнее добавляться социально-философская и общественно-политическая проблематика.

Проделанная нами работа по исследованию содержания русского мировоззрения, включая романную эпопею И.С. Тургенева, также позволила сформулировать представление о его основных характеристиках, которые обнаружила отечественная художественная проза 50–60-х годов XIX столетия. Среди них мы в первую очередь выделили расколотость мировоззрения на два типа – патриархально-национальное и европеизированное, подпитывавшиеся соответственно славянофильской и западнической философскими традициями.

Другой важной характеристикой мировоззрения русского земледельца была названа его природная ориентированность. Невозможность мыслить себя вне пределов природного тела и, напротив, конституировать себя как продолжение органического мира, а органический, природный мир – как продолжение собственного тела – это чувство и взгляд на действительность и самих себя прослеживается у всех героев-земледельцев литературных произведений этого исторического периода.

Чуткость русского земледельческого мировоззрения к проявлениям природности органично смыкается с его, мировоззрения, открытостью к «переходу» в иное «бытие», готовностью к смерти. В русском самосознании этого исторического периода понимание смерти отнюдь не материалистическое, в котором смерть представляется всего лишь в виде механической остановки деятельности органов и функций человека, как полагал, например, своеобраз-

¹⁵⁹ Бахтин М.М. Цит. соч. С. 217.

¹⁶⁰ Что же касается романов Гончарова, то здесь, как полагает М.М. Бахтин, писатель не просто поставил волновавшие его вопросы, а «оставил нам свою авторскую исповедь» (Бахтин М.М. Цит. соч. С. 224).

ный антипод земледельческого мировоззрения «нигилист» Евгений Базаров. Смерть – естественный переход души в иное, неземное существование, ее метафизическое бытие. И там-то, вне земли, в стране, «куда кулички летят», начинается жизнь вечная – праведная и счастливая.

И наконец, еще одной, столь же важной, как природность или рассмотрение смерти как формы инобытия души, чертой русского земледельческого мировоззрения, как нам видится, нужно считать содержащееся в нем представление, по крайней мере, о равной ценности (если не о преобладании) в человеческой жизни интуитивно-эмоционального начала над началом научно-рациональным. Важно отметить, что представление о «равноценности» эмоций и разума, ума и сердца, а тем более примате разума над душой и сердцем не считалось правильным многими отечественными философами, литераторами и соответственно созданными ими персонажами. Для «русского» взгляда на мир и русского человека на самого себя характерным, «правильным» и национально-особенным признавалось доминирование «сердца» и «чувственности», равно как и души, над умом, разумом, «расчетом». И уж точно «грех» доминирования рациональности, равно как и ее сколько-нибудь существенные проявления, «ставились в минус» европейскому взгляду на мир и его выразителям в России – западническому крылу русских мыслителей и деятелей культуры.

Приблизившись к этой новой и важной черте мировоззрения русского земледельца, до настоящего момента не рассматривавшейся подробно, перейдем к ее всестороннему исследованию. Обширные возможности для этого предоставляются творчеством И.А. Гончарова, в котором эта мировоззренческая характеристика, в сравнении с творчеством других отечественных авторов, рассмотрена наиболее подробно, всесторонне и детально.



Иван Александрович Гончаров (1812–1891), широко известный читателям XIX и XX столетия как автор романов «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв», обладавший, как отмечал П.А. Кропоткин, «чрезвычайно объективным талантом»¹⁶¹, справедливо зачисляется исследователями в один ряд с такими мастерами реалистического романа, как Тургенев, Герцен, Писемский¹⁶².

¹⁶¹ Кропоткин П.А. Русская литература. Идеал и действительность. М.: Век книги, 2003. С. 149.

¹⁶² См., например: История русской литературы XIX века. 40–60-е годы. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 249.

Уже первое его сочинение – «Обыкновенная история», опубликованное в 1847 году в журнале «Современник», имело, по оценке В.Г. Белинского «успех неслыханный» и сразу принесло автору широкое признание. Та же, если не еще более завидная судьба сопутствовала и появившемуся спустя 12 лет роману «Обломов», произведению еще более философичному.

Говоря об этих романах, все литературные критики – радикально-революционного, либерального и славянофильского направлений – по-разному, порой диаметрально противоположно объясняя причины жизненных перипетий и драматических поворотов судеб их героев, тем не менее сходились в признании их значительной общественно-художественной ценности. Так, например, сильно различавшиеся в своих социально-философских воззрениях И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой, оба столь высоко ценили «Обломова», что называли роман «капитальнейшей вещью», имеющей «невременный» интерес.

Вместе с тем имеющиеся в литературной и философской мысли трактовки романов и их главных героев, на наш взгляд, все еще далеки от полной разгадки замысла, который, присутствуя в обоих романах, все же не вполне осознавался, в том числе, хотя это и звучит парадоксально, самим автором. Говоря так, мы имеем в виду то объективное содержание, которое вместили в себя оба произведения, которое было разлито в тогдашней реальности и, кажется, проникало в тексты из самой российской действительности. Это объективное содержание копилось и в продолжавшем формироваться российском самосознании, и в складывающемся русском мировоззрении. Но для того чтобы это новое содержание лучше увидеть и понять, мы прежде всего хотели бы предложить принять к рассмотрению две важные исследовательские гипотезы – о внутренней связи между двумя романами, во-первых, и о трактовке в «Обыкновенной истории» образа дяди Петра Ивановича Адуева, во-вторых.

Что же мы полагаем тем объективным содержанием, которое накапливалось в российской действительности и подспудно влияло на становящееся русское мировоззрение?

Как нам представляется, при работе над своими произведениями и Гончаров, и Тургенев, интуитивно ощущали один и тот же созревший в самой российской действительности вопрос: возможно ли в России позитивное дело, и если «да», то каким образом? В иной трактовке вопрос этот звучал так: каковы должны быть требуемые жизнью новые люди?

Накопление новых смыслов русского мировоззрения было связано со следующим. Во-первых, в середине XIX века Россия стояла накануне отмены крепостного права и, следовательно, ждала появления нового социально-экономического общественного уклада, в основании которого лежала прежде неизвестная страной свобода. Еще раз отметим важную особенность: свобода эта не «вырастала» из логики развития социальных групп российского общества, не «вытекала» из какого-либо переживаемого страной события, а привносилась в него извне русскими и иноземными просвещенными головами из Европы и освящалась волей российского императора. И во-вторых, после не только петровского насильственного включения России в Европу, но еще более после войны 1812 года в стране было сильно ощущение ее «европейскости», в том числе и в качестве сильной державы-победительницы, которая осознавала право и способность в известных отношениях демонстрировать европейским странам свои жизненные ценности и стандарты.

Но какие положительные образцы русские могли предложить европейцам? Выдерживали ли русские ценности конкуренцию с ценностями европейскими? Без уяснения ответа на этот вопрос самим себе думать о европейском пути России было пустым занятием. (Вот, кстати, почему герои всех тургеневских романов в той или иной форме постоянно ориентируются на Европу, тем или иным способом связаны с ней, что, наряду с прочим, дает им силы продолжать искать ответ на вопрос о возможности позитивного дела в их собственной стране.)

Решением загадки новой исторической судьбы нашего отечества были заняты и герои Гончарова. И в той же мере, как между романами Тургенева имелась внутренняя содержательная связь, она же, на наш взгляд, обнаруживается и между двумя основными произведениями

Гончарова – «Обыкновенной историей» и «Обломовым»¹⁶³. Вот только лежит она не столько в сфере внешних культурно-духовных поисков героев, как это имеет место в романах Тургенева, сколько во внутреннем мире гончаровских персонажей, в пространстве непрекращающейся борьбы между интеллектом и чувствами, «разумом» и «сердцем». И не беда, что в «Обыкновенной истории» эта схема опробована в первом, так сказать, приближении, а многие движения души и ума героев передаются посредством авторских пересказов и довольно динамичного течения событий. (Так, между первым приездом Александра в столицу и вторичным возвращением, изображенным в финальной части романа, проходит более восьми лет.) Зато в «Обломове» автор неспешен и шепетилен в изображении всех деталей: едва ли не каждое движение героев исследуется с точки зрения его, движения, анатомического, физиологического, а подчас и генетического содержания. Автор не только не пропускает ни одного реального душевного порыва, но даже и самого намерения какое-либо душевное движение совершить.

В этой связи сформулированный у Тургенева вопрос о возможности позитивного дела в России претерпевает у Гончарова известную коррекцию и звучит так: как возможен и каким должен быть русский герой, ставящий цель совершить позитивное дело? Есть ли в России такие герои, а если их нет, то почему?

Говоря о романах Тургенева и Гончарова, отметим и имеющуюся между ними, как мы полагаем, содержательную преемственную связь. Заключается она в том, что если герои Тургенева живут в состоянии большей частью неудачных, но непрекращающихся попыток начать и что еще важнее – продолжать свое собственное позитивное дело, то у Гончарова эта проблема представлена в своих крайних вариантах. С одной стороны, в романе рельефно изображен действительно позитивный персонаж, состоявшийся профессионал и деятель Андрей Иванович Штольц, сама жизнь которого ни им самим, ни читателями не может быть представлена вне и помимо реального и результативного позитивного дела. С другой стороны, мы наблюдаем центрального героя произведения – Илью Ильича Обломова, конкретное проявление и высший смысл существования которого – философическое недеяние.

Это состояние недеяния, как мы убедимся далее, имеет под собой массу всевозможных обоснований: от детской запрограммированности на блаженное и почти бездвижное «ничего-неделание», впитанное чуть ли не с молоком матери и идеализируемое, до концептуальных его обоснований. Последние объясняют нежелание «Обломова-философа» участвовать в жизни, само содержание которой недостойно не только практического дела или хотя бы движения, но и обсуждения. Отметим, что эта трактовка оправдания обломовского недеяния заслужила в нашем литературоведении чуть ли не поддержку, будто и в самом деле Обломов прав и может служить нам примером в том, что не желает участвовать в этой недостойной участия жизни. За этим, на наш взгляд, стоит молчаливо допускаемая мысль, что когда эта недостойная участия жизнь претерпит позитивные изменения, то тогда и Илья Ильич обратит на нее внимание. И будто сделаться это – изменение жизни – должно как бы само собой, а до той поры Обломов, не желающий о «такую» жизнь «руки марать», достоин, пожалуй, что и похвалы. В этой связи отметим, что в истории литературы имеется авторитетное свидетельство современника Гончарова, Д.В. Григоровича, о том, как трактовал своего героя сам автор. «Обломову он придавал тот смысл, – сообщает Григорович, – что в нем хотел изобразить тяжеловесную сонливость русской натуры и недостаток в ней внутреннего подъема»¹⁶⁴. Думаем, что именно эту оценку и следует принимать во внимание при анализе изображенного в романе образа.

Вторая наша исследовательская гипотеза, позволяющая глубже понять то новое содержание, которым наполнялось российское самосознание и которое все ощутило и повлияло на фор-

¹⁶³ Третий крупный роман Гончарова «Обрыв» в своей содержательно-смысловой целостности не столько продолжает линии поисков ответа на вопрос «Как возможно в России позитивное дело?», сколько развивает тему «сердца и разума».

¹⁶⁴ Григорович Д.В. Литературные воспоминания. М.: Гослитиздат, 1961. С. 116.

мировоззрение русского мировоззрения, целиком относится к роману «Обыкновенная история». Состоит же она в трактовке образа дяди Александра – Петра Ивановича Адуева. Но вначале о том, каким этот персонаж видится исследователям, интерпретируется и, в известном смысле, предлагается для восприятия читателю.

Современные Гончарову критики, например те, которые придерживались славянофильского и самодержавно-охранительного направлений в прогнозировании экономического и культурного развития страны, в большинстве склонны были трактовать Адуева-старшего как разновидность ненавидимой ими, но неумолимо надвигающейся на Россию буржуазности. Так, например, один из журналистов болгаринской «Северной пчелы» писал: «Автор не привлек нас к этому характеру ни одним великодушным поступком его. Повсюду виден в нем если не отвратительный, то сухой и холодный эгоист, человек почти бесчувственный, измеряющий счастье человеческое одними лишь денежными приобретениями или потерями»¹⁶⁵. Солидаризировался с этой позицией в журнале «Москвитянин» и известный литературный критик и философ Аполлон Григорьев.

Примерно в этой же тональности звучит и голос современного нам исследователя, автора предисловия к четырехтомному собранию сочинений писателя 1981 года – К. Тюнькина: «Деловой Адуев-старший – воплощение «адиевщины», прямой антитезы будущей «обломовщины» – ... полностью устраняет любовь из своей жизненной «практики» (и не может не устранить по существу своей деятельности и своей философии), ограничивает ее утилитарной сферой семейной жизни»¹⁶⁶. (Почему это вдруг семейная жизнь принижается до уровня всего лишь «утилитарной сферы» – непонятно, но не наша забота разбирать воззрения господина Тюнькина. – С.Н., В.Ф.)

Более изощрена, но от этого не более приближена к истине трактовка, предлагаемая в обширном исследовании Ю.М. Лощица. Согласно критику к имеющимся в тексте мифологическим образам и мотивам, к образу дяди автор добавляет пушкинский мотив демона-искусителя, чьи «язвительные речи» вливают в душу юного героя «хладный яд».

Впрочем, в самом пушкинском стихотворении демон являет такие свойства, которые даже при большом желании убедить читателя в прямом подобии нечистой силы и Петра Ивановича вряд ли получится. Припомним строфы Пушкина о демоне:

Неистошимый клеветою,
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасною мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел¹⁶⁷.

По этому поводу Ю.М. Лощиц вопрошает: «Действительно, чем не портрет Петра Адуева? Может быть, лишь две-три детали из романтического лексикона молодого Пушкина не совсем подходят («злбный гений», «чудный взгляд»), все же остальное – прямо по адресу. Осмеяние «возвышенных чувств», развенчание «любви», насмешливое отношение к «вдохновению», вообще ко всему «прекрасному», «хладный яд» скептицизма и рационализма (в полном соответствии со славянофильской традицией и разумность оказалась пороком. – С.Н.,

¹⁶⁵ Цит. по: Лощиц Ю.М. Гончаров. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 77.

¹⁶⁶ Гончаров И.А. Соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Правда, 1981. С. 6.

¹⁶⁷ Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М.: Правда, 1981. С. 322.

В.Ф.), постоянная насмешливость, враждебность к любому проблеску «надежды» и «мечты» – арсенал демонических средств...»¹⁶⁸

Спросим в свою очередь и мы: действительно ли демон Петр Иванович? Когда же это он клеветает, если, конечно, не считать клеветой его постоянную иронию, часто довольно трезвую, но которую нельзя назвать ни злобной, ни низкой? В каких случаях Адуев-старший не верит действительной любви, а тем более свободе? И если он и в самом деле не «благословляет» деревенское безделье и сонный паразитизм жизни обитателей Грачей, то разве он не превозносит и не освящает подлинный труд в разных его формах – в присутствии, на заводе, в журнале? Да и в отношении «чувствований и сердечных проявлений» дядя иногда может дать фору племяннику. Мы имеем в виду его отношения к грачевской помещице – матери Александра. Размышлять-то он размышлял, но поступил ведь действительно благородно: в ответ на ее доброту (с перерывом в семнадцать лет!) принял на себя заботы о ее сыне. Чего не скажешь о воплощении «сердечности» – племяннике Александре: другу и Софье он по прошествии месяца жизни в Петербурге письма написал, а вот послать весточку матери, на что ему пеняет дядя, все никак не соберется.

А разве дядя не радуется успехам Александра в чиновничьих и журналистских делах, когда таковые имеются? Кем, как не старшим другом и благородным покровителем был он Александру все время пребывания того в Петербурге? И если бы его отношение к Александру не было хотя и иронично-критическим, но в то же время и любовно-заботливым, то разве не созрел бы у него серьезный конфликт с женой – теткой Александра, человеком не только мудрым, но и чувственным, которая чисто по-женски тоже покровительствовала племяннику? Однако же, не считая некоторых «тактических» разногласий, таковой конфликт не только не возник, но даже не обозначился и намеком. Стало быть, действовали «злодей» дядя и воплощение доброты тетка не слишком розно. Разве нет?

Сомнительным нам кажется и «открытие» Лоцица, согласно которому оказывается, что Петр Иванович «исповедует зло», более того, является «его носителем», подобно гетевскому Мефистофелю¹⁶⁹. Сказано сильно. Но на какой почве вырастает такой вывод? А всего лишь из фразы Адуева-старшего, что он «верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и в прескверное». И из этого критик почему-то заключает: «Но ведь «верить в зло» – значит исповедовать зло, быть его носителем. Предназначение искусителя, то есть лица, прекрасно знающего ресурсы зла и умеющего при случае ими пользоваться, в Петре Адуеве просматривается невооруженным глазом»¹⁷⁰.

Странный вывод. Да и аналогия с Мефистофелем не убедительна. Ведь у Гете демон искушает доктора Фауста с целью отказаться от деятельности. В то время как все усилия Адуева-дяди направлены на то, чтобы Адуева-племянника к реальной деятельности – физической и духовной – пробудить. Впрочем, сравнение относительно знания добра и зла можно принять как возможное в одном контексте – мысли Мефистофеля о всеобщей связи вещей:

Захотеть, и из досок
Хлынет виноградный сок.
Это чудо, ткань жива.
Все кругом полно родства¹⁷¹.

¹⁶⁸ Лоциц Ю.М. Цит. соч. С. 75.

¹⁶⁹ Там же. С. 76.

¹⁷⁰ Лоциц Ю.М. Цит. соч. С. 76.

¹⁷¹ Й.В. Гете. Фауст. М.: Эксмо, 2006. С. 207.

Но ведь в этом случае любой, кто не закрывает глаз и видит в жизни реально присутствующее в ней зло, кто уверен, что оно – не фантазия, а в действительности наряду с «прекрасным» существует и «прескверное», тот зачисляется в адепты и даже в акторы зла, причем в высшую его иерархию – в демоны.

На самом же деле в романе есть только одна, признаем, практически оправданная, но несколько сомнительная с моральной точки зрения, ситуация, инициатором которой был дядя. Это случай, когда Петр Иванович просит племянника приударить за вдовой Юлией Павловной Тафаевой, с тем чтобы отвадить своего любвеобильного компаньона Суркова, нещадно транжирящего на флирты с разными особами общие с Адуевым-дядей деньги. Но такая ситуация только одна, и больше в упрек дяде, в перечень «творимых» им «злых дел», нам поставить нечего. Да и в случае с Тафаевой дядя просил «приударить» не за девушкой-несмышленьшем, которая сама вряд ли сумеет разобраться в происходящем и сделается жертвой обмана, а за взрослой женщиной, до того жившей пять лет в браке по расчету.

Что же еще скверного кроме этого наделал дядюшка? Когда же еще Петр Иванович использует в своих целях «ресурсы зла»? Ведь если таковые примеры есть, то их следовало бы назвать, потому что приводимые критиком резкие и многозначительные, но ничем не подкрепленные заключения о «темной» стороне природы Петра Ивановича не убеждают¹⁷².

Наверное, неоправданно завышено с нашей стороны притязание ожидать от литературоведческого анализа глубокого содержательно-смыслового исследования, тем более учитывающего контекст социально-экономического и культурного развития России тех лет. Впрочем, корректно работающее в своем предметном поле литературоведение на это и не претендует. Вот как, например, трактуется конфликт между дядей и племянником в типичном современном литературоведческом тексте. Оценивая в одном из разговоров жизненные мерки Александра, дядя говорит: «Точно двести лет назад родился... жить бы тебе при царе Горохе». На что следует литературоведческий комментарий: «В александровском „взгляде на жизнь“ романтически преломлены *безусловность* и *абсолютность* героических в своих истоках требований и мерок, не приемлющих обыкновенных, повседневных проявлений и обязанностей бытия, всю прозу жизни вообще.

Для Гончарова, однако, прозаический характер новой эпохи – историческая непреложность, с которой обязан считаться каждый современник»¹⁷³.

В этом же ключе – перехода романной формы литературы от романтизма к реализму – трактовал столкновение характеров племянника и дяди, как это утверждает Ю.М. Лощиц, и В.Г. Белинский: «Антиромантическая» установка позволяет критику решительно сдвинуть Адуева-старшего в сторону «положительности»¹⁷⁴.

Что же стоит за «александровским взглядом на жизнь», «прозаическим характером новой эпохи» и объяснениями идейных конфликтов племянника и дяди писательскими «антиромантическими установками»? На наш взгляд, за явлениями, увиденными посредством «литературного зрения» и высказанными при помощи литературоведческих понятий, скрывается тектоническое общественное преобразование – уже произошедшая в Европе и начинающаяся совершаться в России смена социально-экономических укладов бытия. В это время западные соседи России, в основном очистившиеся от средневековой коросты разных форм рабства, уже прошли через горнило гуманизма Возрождения, религиозной реформации и, завершая

¹⁷² Одним из наиболее характерных нам кажется у Лощица, например, такое: «...Петр Адуев осознает свое первородство искусителя и, так сказать, в метафизическом смысле. Недаром и говорит со знанием дела: «С Адама и Евы одна и та же история у всех, с маленькими вариантами» (Лощиц Ю.М. Цит. соч.). Кажется, пребанальный мысле-образ вложил Гончаров в уста герою. А вот, поди, на какое заключение критика нарвался! Неужто и в самом деле, чтоб сказать подобное, надо иметь «знание дела» самого искусителя?

¹⁷³ История русской литературы XIX века. 40–60-е годы. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 300.

¹⁷⁴ Лощиц Ю.М. Цит. соч. С. 79.

просвещенческое преобразование умов, вступали на путь буржуазных революций. При этом конечный социальный смысл европейских трансформаций состоял в замене главного действующего лица старого общества – родовитого и высокопоставленного человека-паразита – главной фигурой нового общества – человека дела, выходца редко – из высших, часто – из средних и низовых слоев.

В разных странах Европы этот трансформационный процесс шел с разной скоростью и имел свои особенности. Общим же знаменателем для него был назревающий и уже начавший реализовываться социально-сословный раскол, определявшийся прежде всего базовыми представлениями о том, как, зачем и за счет чего (и кого) жить. Так, например, крупный немецкий социолог XX столетия Норберт Элиас сообщает о событии, имевшем место еще в 1772 году с великим немецким поэтом Иоганном Вольфгангом Гете. Случилось так, что Гете оказался в гостях у одного графа в обществе «мерзких людишек», которые были озабочены лишь тем, «как бы обскакать друг друга» в борьбе мелких честолюбий. После обеда, пишет Элиас, Гете «остаётся у графа, и вот прибывает знать. Дамы начинают перешептываться, среди мужчин тоже заметно волнение. Наконец граф, несколько смущаясь, просит его уйти, поскольку высокородные господа оскорблены присутствием в их обществе буржуа: «Ведь вам известны наши дикие нравы, – сказал он. – Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием...» «Я, – сообщает далее Гете, – незаметно покинул пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал...»¹⁷⁵

Процесс столкновения разных систем ценностей и взаимоисключающих друг друга способов отношения к миру в романе разворачивается постоянно. И каждый раз за ним угадывается конфликт между трудовой деятельностью буржуа и паразитическим существованием помещичьего сословия (вспомним, что Илья Ильич Обломов, например, искренне гордился тем, что за всю жизнь ни разу сам не натянул себе чулок на ноги!).

Конфликт этот присутствует и в столкновении разных способов жизни племянника и дяди Адуевых. В «Обыкновенной истории», при том что, в разговорах героев постоянно фигурируют понятия и ценности любви, дружбы, чувств, разума, сердца и т. д., тем не менее как бы вторым планом неизбежно возникает вопрос: участвует ли человек своим трудом в добычании средств к своей собственной жизни или средства эти достаются ему исключительно в силу исторически сложившегося «порядка вещей»? Иными словами, явилось ли любое из желаемого им продуктом собственных, упорных и настойчивых усилий либо произвелось на свет как бы само собой, в том числе и в результате молчаливого труда множества крепостных Евсеев или, например, подобно малине и «белому меду чистейшей воды» из Грачей. Один-единственный раз к этой мысли, хотя и в отвлеченной форме соперничества вдохновения юности и опыта зрелости, приходит и сам Александр: «...он дал себе слово... при первом случае уничтожить дядю: доказать ему, что никакая опытность не заменит того, что *вложено свыше*»¹⁷⁶.

К исследованиям творчества Гончарова вообще и его романа «Обыкновенная история» в частности в последнее время добавилось исследование В.И. Мельника, примечательное прежде всего тем, что трактовку гончаровского творчества предлагается рассматривать с позиций православия. Согласно автору романы Гончарова – свидетельство непрекращающегося всю жизнь поиска писателем религиозно-нравственного христианского идеала. «Идеал Гончарова как писателя ... – это Евангелие. Его задача как художника – распространять и утверждать в современных людях христианский взгляд на жизнь, христианские идеалы и даже «христианскую цивилизацию» (это словосочетание – ключевое для романиста!). Именно под углом

¹⁷⁵ Элиас Норберт. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. С. 74.

¹⁷⁶ Гончаров И.А. Соч.: В 4 т. М.: Правда, 1981. Т. 1. С. 196–197.

евангельского взгляда на жизнь и раскрывают свой смысл романы Гончарова»¹⁷⁷. Каковы же доказательства, предлагаемые исследователем для подтверждения столь серьезного в своей однозначности тезиса?

По мнению В. Мельника, для всех гончаровских героев характерна не развитая религия – религия острых вопросов жизни и смерти, а «религия обытовленная». Тем не менее, начиная с «Обыкновенной истории», проблематика всей романной прозы писателя «восходит к Библии», это «мифологемная и всеопределяющая, универсальная оппозиция «ада» и «рая»¹⁷⁸. Так, дядя Адуев (фамилия эта, по мнению Мельника, вообще сконструирована на основе слова «ад». – С.Н., В.Ф.) носит имя Петра (по-гречески – камень). И это якобы сделано Гончаровым для того, чтобы подчеркнуть «каменность его сердца», которым он слушал и не исполнял заповедей Христа. И вот это-то антихристианское «подсознательное» мировоззрение дяди и является причиной его падения.

По тем же причинам – отпадения от православия – происходит крах и племянника Александра Адуева, отошедшего от «простоты и наивности «младенческой веры» и не обретшего веру иную – мужественную, сознательную, когда преданность Божьей воле сочетается в человеке с мужеством исторического деятеля»¹⁷⁹.

Слов нет, предложенная В. Мельником трактовка возможна как исследовательская гипотеза. Но вот то, что она объявляет себя единственно верной, представляется сомнительным. Мнение, что все гончаровские герои обнаруживают «обытовленную» религиозность, может быть применено почти ко всем героям русской прозы XIX столетия. Таково было преимущественное состояние умов огромного большинства населения страны. «Евангелие» потому и является одной из культурных первооснов человеческой цивилизации, что содержит в себе универсальные и трансвременные человеческие коллизии, наполнено вневременными смыслами и ценностями. Именно в силу этой своей природы оно – наряду с иными основоположениями культуры, в том числе такими, как обыденное правосознание или альтруистические внутрисемейные отношения, – может быть применено и к романам Гончарова. Но вот то, что роман «Обыкновенная история» сводим исключительно или главным образом к коллизиям «Евангелия», представляется сомнительным. В своей конкретности он, несомненно, значительно более широк. А его герои, как мы старались показать, вовсе не столь одномерны, как это предлагается исследователем¹⁸⁰.

Завершая обзор мнений о трактовке образа Петра Ивановича Адуева, о природе столкновений племянника и дяди, отметим следующее. Постоянно разговаривая о соотношении разума и чувства, ума и сердца, герои романа на самом деле отстаивают собственные способы жизни, свои трактовки того, чем является в действительности и каким следует быть человеку, должен ли он быть деятелем или действительно удел достойного человека – недеяние, а также каковы должны быть его представления, в том числе и о себе самом. То есть речь идет о столкновении разных типов (не проявляется ли в этом еще одна форма расколотости?) российского мировоззрения и самосознания. И здесь, продолжая начатую линию рассмотрения изобретенных критиками «пороков и темных сторон» Петра Ивановича Адуева, попробуем и мы совершить, по возможности беспристрастный, анализ этой непростой фигуры. Сделать это тем более важно, что и Белинский справедливо видел в этом образе один из немногих примеров «делового человека», встречающихся в современной ему отечественной прозе.

¹⁷⁷ Мельник В.И. Гончаров и православие. Духовный мир писателя. М.: ДАРЪ, 2008. С. 127–128.

¹⁷⁸ Там же. С. 140.

¹⁷⁹ Там же. С. 153–154.

¹⁸⁰ Применяемая В. Мельником методология редукции окажется еще более ограниченной, когда мы рассмотрим ее в дальнейшем применении к роману «Обломов».

* * *

Возможность максимально полного и непредвзятого анализа, на наш взгляд, дает прежде всего метод последовательного рассмотрения содержания бесед Александра с Петром Ивановичем, равно как и анализ совершаемых дядей поступков.

Итак, в эпизоде первом Петру Ивановичу предстоит сделать принципиальный выбор – принимать или не принимать на себя заботу о свалившемся ему на голову деревенском племяннике. Фон для этого непростого решения создают привезенные Александром письма – от жены брата Петра Ивановича и от ее сестры, за которой Петр Иванович в молодости, как мы узнаем из ее письма, немного ухаживал. Надо отметить, что предмет воздыханий молодого Петра Ивановича в своем теперешнем виде являет феномен, спокойное отношение к которому требует немалых сил. «Остающаяся по гроб ваша», как она завершает письмо, Марья Горбатова, оказывается, после знакомства с Петром Ивановичем не просто осталась старой девой, но чуть не сознательно «обрекла себя на незамужнюю жизнь»(!), что, оказывается, теперь дает ей возможность счастливо «воспоминать блаженные времена», не будучи подвергнутой вездесущей цензуре мужа. Что же из «времен»? Например, сюжет о том, как молодой Петр Иванович лазал для девушки в пруд, дабы сорвать желтый цветок, а поскольку последний обильно источал сок и перепачкал юноше и девушке руки, то он, Петр Иванович, пожертвовал и картузом, чтоб зачерпнуть в оном пруде воды для омовения дланей своих и юной особы.

Петру Ивановичу, следовало далее из письма, ежели он оказывался женатым, надлежало «открыть эту тайну» Марье Горбатовой, коя обещала хранить ее вечно. Расстаться же с ней она допускала возможность лишь в том случае, если неизвестные злоумышленники «вырвут ее у нее из груди вместе с сердцем». Мысль же, что Петр Иванович вдруг обнаружил себя «извергом, как все мужчины», то есть забыл Марью, вовсе не допускалась. Напротив, высказывалась уверенность, что он «сохранил к ней все прежние чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы». Попутно отметим, что весь этот дурно состряпанный винегрет эмоций несколько в иных терминах будет воспроизводить и Александр, говоря о своей деревенской пассии и о сердечном друге.

Во втором письме – от жены брата, Петра Ивановича – просили принять Сашеньку «на свое попечение», спать с ним в одной комнате, дабы переворачивать с боку на бок при проявлениях беспокойства во сне и вовремя закрывать платком рот, чтобы в него под утро, не дай бог, не набились мухи. Предлагалось также остерегать юношу от карт, вина, дурных друзей и содействовать благорасположению к нему начальства.

Что же этот исключительно прагматичный с «чертами демона» столичный господин? Он – какой грех! – не бросается опростетью встречать племянника, а предварительно размышляет. При этом заключает, что Александра он не знает и, стало быть, не любит. Что прошлое и, не дай бог, воспоминания о Марье не налагают на него никаких обязательств. Вместе с тем он вспоминает, как тепло семнадцать лет назад мать Саши провожала в северную столицу его самого и как просила, когда подрастет Сашенька, помочь ему также обустроиться в Петербурге. К тому же, справедливо рассудив, что племянник вряд ли ровня ему даже прежнему, каким он сам был семнадцать лет назад, Петр Иванович подумал, что в столице с Сашей может случиться что-нибудь недоброе и ему, его дяде, придется отвечать перед своей совестью. Обдумав все это, он дает распоряжение лакею – когда племянник придет, его принять, а заодно, чтоб было сподручнее в какой-то форме последнего призреть, снять для него помещение над дядюшкиной квартирой.

Второй эпизод происходит в комнате у Александра, куда Петр Иванович приходит, чтобы узнать о планах племянника на жизнь в столице. Напомним, что перед этим Александр прогулялся по городу и воротился домой, «считая себя гражданином нового мира...». Что же этот

новый вершитель человеческих судеб собирается делать? На прямой вопрос дядюшки следует ответ: «Я приехал... жить. ...Пользоваться жизнью, хотел я сказать, – прибавил Александр, весь покраснев, – мне в деревне надоело – все одно и то же... Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить... Осуществить те надежды, которые толпились...»¹⁸¹

Как же реагирует на этот бессмысленный лепет дядя? Благородно. С пониманием и вполне терпимо: «...ты, кажется, хочешь сказать ... что ты приехал сюда делать карьеру и fortuna, – так ли?» Более того, он постепенно начинает, одновременно предостерегая, вводить племянника в круг реальных проблем: «...да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддавалась новому порядку; а тамошний порядок – ой, ой! Ты вон изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать все... Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать. ...Вы помешались на любви, на дружбе да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают... как я отучу тебя от всего этого? – мудрено! ...Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и прекрасным человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном»¹⁸².

Разве не прав дядя? Разве не заботлив, хотя и не берется прикрывать платком племяннику рот от утренних мух? Разве по-хорошему, но не назойливо, а в меру, не нравоучителен? А вот и финал разговора: «Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь... Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать»¹⁸³. Согласимся, что, оценив то, что продемонстрировал Александр, решение дяди – большой аванс и уж точно груз, возлагаемый на самого себя. Спрашивается: зачем? И кроме как на родственные чувства и благодарность за доброту к нему самому в далеком прошлом, указать не на что. Ну чем не демонический персонаж!

А вот и третий, может быть, наиболее важный эпизод – с письмом, в котором Александр описывает деревенскому другу своего дядю, в том числе и со словами юноши, так встревожившими воображение Ю.М. Лоцица: «Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона...» (Выделено нами. Именно с такими оговорками, а не как у литературоведа: за исключением двух-трех романтических деталей, у дяди все, как у пушкинского демона. – С.Н., В.Ф.) Как мы помним, в письме Александр сетует на то, что дядя «не дал ему места в сердце», «не согревает горячими объятиями дружбы», «его сердцу чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному», он «сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного: оно чуждо душе его; я думаю, он не читал даже Пушкина...»¹⁸⁴

Притом Александр, как выясняется, успев написать письмо к другу и к своей деревенской возлюбленной Софье, так и не удосужился написать матери. Примечательны и его «планы» на fortuna и карьеру. Так, в своих представлениях о службе и возможной для себя должности через пару месяцев он не прочь стать начальником отделения, а через год, пожалуй, и министром...

Кульминация эпизода – чтение дядей письма о себе и диктовка Александру нового текста. Как же определяет себя Петр Иванович? Да, он делает для Александра добро, потому что сам когда-то видел добро от его матери. И это правда. Петр Иванович диктует Александру: «Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как все... Он думает и чувствует по-зем-

¹⁸¹ Гончаров А.И. Цит. соч. Т. 1. С. 57.

¹⁸² Там же. С. 58–59.

¹⁸³ Там же. С. 60.

¹⁸⁴ Там же. С. 62–62.

ному, полагает, что, если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам ее хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и в прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с их настоящей стороны, а не заноситься бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая от частых сношений и привычки обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу, и люди забывают друг друга, и что это вовсе не преступление. ...О любви он того же мнения, с небольшими оттенками: не верит в неизменную и вечную любовь, как не верит в домовых... Это...придет само собою – без зову; говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает свое время, а целый век мечтать об одной любви – глупо. Те, которые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, – живут сердцем, и еще чем-то хуже, на счет головы. Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе: мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуждается в нас; занимаясь, он не забывает и себя: дело доставляет деньги, а деньги комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не всегда думает о службе да о заводе, он знает наизусть не одного Пушкина... Он читает на двух языках все, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы – это его вкус, часто бывает в театре, но не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком; что советует и мне...»¹⁸⁵

Согласимся, что в дядиных самохарактеристиках нет ни приукрашивания, ни позы, что они свидетельствуют о спокойном, трезвом взгляде на себя и мир. И что если и можно было бы признать за ним проявление холодности, в которой так часто упрекают героя, так для восторгов и ярких эмоций нет поводов, а предмет разговора или личность Александра таких оснований также не дают. Действительно, Александр – юноша восторженный, эмоциональный, честный, но незатейливый и даже довольно ограниченный, а потому для дяди и малоинтересный. (Отметим еще раз, что дядя знает наизусть не одного Пушкина, неплохо разбирается в живописи, давно и содержательно живет в столице, да и старше племянника минимум на пятнадцать лет.) И потому такое событие, как явление юного деревенского родственника и его личность, интеллектуальную жизнь и эмоциональную сферу Петра Ивановича, естественно, сколь-нибудь сильно затронуть не могли. Нам очевидно, что возможность вызвать интерес в фигуре такого калибра не по силам для юного провинциала. И спасибо за то, что дядя, добравшись до действительно впечатляющих хозяйственно-служебных высот, не сделался, как многие бы на его месте, снобом, не потерял человеческого облика и в самом деле не надел на себя одну из личин демона. И сохранила его в человеческом облике прежде всего культура, неотъемлемой частью которой всегда были и остаются разум и личный труд человека.

Прошло без малого два года. По всем меркам Александр, кажется, уже должен был бы освоиться в столице и хотя бы в небольшой мере изменить свою патриархально-деревенскую систему представлений и ценностей. Этого, однако, не происходит. И хотя произошедший с ним конкретный случай – любовная измена – предмет особого разговора, в котором голос разума всегда звучит несравнимо слабее зова чувств, оба – и дядя, и племянник – проявляют себя в полной мере, и у нас снова является случай рассмотреть Петра Ивановича попристальнее. Что же открывает нам четвертый романский эпизод?

¹⁸⁵ Там же. С. 68–69.

Случившаяся с Александром любовная неудача, при всей болезненности лично для него, на самом деле случай довольно обычный. И, надо отдать ему должное, Петр Иванович принимается за дело усердно и терпеливо. В ответ на громкие, с элементами мелодрамы дурного пошиба жалобы и упреки Александра («печальная повесть моего горя»; я узнал людей: «*жалкий род, достойный слез и смеха!*»; «унесу из толпы разбитое, но чистое от низостей сердце, душу растерзанную, но без упрека во лжи, в притворстве, в измене, не заражусь...»; «эта жизнь хуже ста смертей»; «не он ли уничтожил мое блаженство? Он, как дикий зверь, ворвался...»; «я отомщу ей!») дядя находит верный тон. Он мягко иронизирует, снижает ненужный пафос и мелодраматизм, задает здравые вопросы, вызывает к разуму, старается показать Александру резоны не только его собственного обиженного сердца, но всех участвующих в событии сторон. Он даже благородно не акцентирует очевидность: ведь Александр, несмотря на клятвы и «вещественные знаки невестственных отношений» – вечной любви и верности, благополучно забыл свою деревенскую пассию – Софью и, стало быть, тоже изменил ей. А ведь мог бы, – хотя бы для того, чтобы охладить пыл племянника в отношении «презренной изменницы» и вероломного соперника.

Бог весть, сколько ночной разговор продолжался в романном времени, но даже изложение истории занимает главу из двадцати страниц. При этом дядя все время участливо-рассудительно пытается если не переубедить, то, по крайней мере, показать и смягчить очевидное – варварство и дикость взглядов Александра на отношения мужчин и женщин, на представляющееся ему верным соотношение разума и чувств. И может быть, самое главное – он произносит слова, которые могут исходить только от человека, благодаря экономической деятельности и культуре уже принадлежащего капиталистическому обществу, и которые адресованы человеку общества феодального, с крепостным состоянием и закрепощенным сознанием. Конечно, это слова, сказанные в связи с конкретным поводом, но даже и они указывают на громадность дистанции, которая разделяет племянника и дядю. «Что бы женщина ни сделала с тобой, изменила, охладела, поступила, как говорят в стихах, *коварно*, – вини природу, предавайся, пожалуйста, по этому случаю философским размышлениям, брани мир, жизнь, что хочешь, но никогда не посягай на *личность* (выделено нами. – С.Н., В.Ф.) женщины ни словом, ни делом. Оружие против женщины – снисхождение, наконец самое жестокое – забвение! Только это и позволяется порядочному человеку»¹⁸⁶.

Конечно, в разговоре есть вещи, в которых и дядя дает промашку. Это, безусловно, высказанные вслух, в «просвещенческом» запале, слова о том, как «надо уметь образовать из девушки женщину по обдуманному плану, если хочешь, чтобы она поняла и исполнила свое назначение. ...очертить ее магическим кругом... овладеть... ее умом, волей, подчинить ее вкус...»¹⁸⁷ и т. д. Впрочем, для успокоения Александра эта небольшая промашка не важна. Дядина «речетерапия» приносит несомненную пользу: стоило только Петру Ивановичу приостановиться, как Александр тут же подталкивает его: «Ах, говорите, ради бога, говорите!»

И неважно, что в конце беседы Адуев-младший начинает плакать и дядя, не зная, что делать, призывает на помощь жену. Через час Александр уходит успокоенным, а жена Петра Ивановича, напротив, возвращается в спальню с заплаканными глазами. И дело, конечно, не в том, что сухарь-дядя не сумел успокоить племянника или поплакать вместе с ним, а это удалось сердечной женщине, и, стало быть, сердце оказывается сильнее разума. Думаем, что по большому счету именно дядины доводы наконец-то возымели действие, равно как и эмоции стали знакомым обрамлением для наконец-то успокоенного ума, и тетушкино сочувствие было лишь средством в очередной раз потрогать привычному психологическому стереотипу.

¹⁸⁶ Там же. С. 164.

¹⁸⁷ Там же. С. 160.

Здесь, однако, следует сделать существенную оговорку. К разуму дядя взывает, естественно, со своих позиций, то есть имея под собой мощную культурную основу, собственный реальный опыт хозяйствования, ответственности серьезной государственной службы. Всего этого нет у Александра. Вот почему, когда в финале он предстает одномерно-расчетливым заурядным циником, читатель не слишком удивляется. Адуев-младший из своего феодально-крепостнического бытия со всеми его атрибутами жизни за чужой счет не переживает глубинного профессионально-личностного преобразования, в том числе не переделывается в фигуру капиталистического общества. В существе своем он по-прежнему остается провинциальным помещиком и лишь наконец находит свой способ сосуществования с новым для него внешним миром. Отсюда – его приспособленческое решение жениться исключительно на связях и деньгах и вовсе без любви. И в этом он, кстати, тоже противоположен дяде.

Что же до поступка Петра Ивановича оставить свое успешное продвижение по хозяйственной стезе и карьерной лестнице ради любимого человека, который при такой жизни, какой он живет, *может* заболеть (отметим еще раз: не уже реально заболел, а только, по свидетельству доктора, может. – С.Н., В.Ф.), показывает дядину силу чувства, о котором столько распространялся Александр и на которое он конечно же не способен. А способен «сухарь» и даже, как его иногда трактуют, «демон». Именно Петр Иванович обнаруживает подлинное душевное богатство. Таков финал романа.

Как же это стало возможным? И что за шутку играет с читателем И.А. Гончаров? Об этом большой разговор впереди. Пока же, забегая вперед, отметим, что, на наш взгляд, такие повороты человеческой природы не бывают спонтанны, не возникают из ничего или в результате стечения лишь внешних обстоятельств. Напротив. Они всегда растут из глубин личности и притом длительный срок. Думаем, что почвой для внешне неожиданного и далеко не всеми (включая литературных критиков прошлого и настоящего) понятого поступка Адуева-дяди была та самая культура, которую несет с собой высвободившаяся из феодальных пут человеческая личность, которая находит свое внешнее проявление, например, в любви к фламандской школе и в знании Пушкина. Точно так же, как выверт Александра в ловкача-приспособленца происходит из традиционного российского деревенского примитива, пошлости и паразитического бытия, жизни посредством эксплуатации Евсеев и подобных им трудолюбивых пчел. При таком раскладе ум и трезвый расчет, обнаруживаемые дядей, оказываются в романе Гончарова ничуть не менее важными инструментами формирования деятельной творческой личности, чем проявляемые его женой чувственность и сердечность. Впрочем, оговоримся, что обнаруживаемые женой Петра Ивановича качества глубоко отличаются от внешне подобных им, но содержательно грубых эрзацев, демонстрируемых Александром или его матерью. И признать это необходимо вопреки тому, что ими обычно гордятся отечественные радетели русской старины, использующие их для прикрытия собственного безделья, культурной серости, интеллектуальной пустоты.

* * *

Уделив много внимания рассмотрению личности и характера Петра Ивановича в первой части романа, во второй его части Гончаров центром анализа делает молодого Адуева. Именно с ним происходит ряд историй, причем все они связаны с его новыми любовными приключениями, объяснение чему мы находим не только в том, что Александр почти вовсе отказался от труда и карьерных целей, но и в силу того, что именно здесь в наибольшей мере видны проявления природы сердца, которую тщательно изучает автор. К тому же со времени описанных в первой части романа событий пятилетнего периода минул еще год пребывания в столице младшего Адуева. Произошли ли в нем перемены и каковы они?

Как сообщает автор, в последний год психологически Александр перешел от состояния «мрачного отчаяния» к «холодному унынию». Однако идейно и мировоззренчески серьезных перемен не претерпел. В своих разговорах с тетушкой он все так же безапелляционно рассуждает о взаимной обязанности любящих людей видеть друг в друге альфу и омегу бытия, в прямом смысле «посвятить друг другу» свою жизнь, «лежать у ног», не замечать никого, кроме любимого предмета. Причем то, что мы только что называли чувственным «эрзацем», свойственным любому недостаточно цивилизованному, окультуренному человеку, у Александра сопряжено с проявлениями крайнего эгоцентризма, неблагодарности и даже безжалостности. Так, высокопарно рассуждая в разговоре с Лизаветой Александровной о своем сердце и «высоких» чувствах, Александр беззастенчиво замечает ей о чувствах ее мужа: «Не хотите ли вы уверить меня, ma tante, что такое чувство, как дядюшкино, например, прячется?» Больно задетая тетушка краснеет.

Вообще слово «сердце», как и предмет, им обозначаемый, в этой части романа становится объектом пристального рассмотрения и конечно же в паре с разумом. Так, из рассказа Александра о встрече с другом юности, который, по его мнению, не был с ним достаточно сердечен, мы узнаем, что сердце – это именно и есть тот орган, состояние которого определяет поведение героя. Вот как об этом говорит сам Александр. Сердце – место, в котором («в уголке») он всегда хранил память о своем друге. Сердце «кипит», когда друг не уделяет ему, как кажется Александру, достаточно внимания. С другом Александр желал бы говорить о том, что «ближе к сердцу». Александр удивлен, не верит тому, что у друга до такой степени могло «огрубеть сердце».

Рассуждения эти – не одна только наивность. Авторский голос, включающийся в беседу Александра с тетушкой, констатирует: «Лизавете Александровне стало жаль Александра; жаль его пылкого, но ложно направленного сердца. Она увидела, что при другом воспитании и правильном взгляде на жизнь он был бы счастлив сам и мог бы осчастливить кого-нибудь еще; а теперь он жертва собственной слепоты и самых мучительных заблуждений сердца. Он сам делает из жизни пытку. Как указать настоящий путь его сердцу? Где этот спасительный компас? Она чувствовала, что только нежная, дружеская рука могла ухаживать за этим цветком»¹⁸⁸. И еще: «Бедный Александр! У него ум нейдет наравне с сердцем, вот он и виноват в глазах тех, у кого ум забежал слишком вперед, кто хочет взять везде только рассудком...» – формулирует свое понимание тетушка в разговоре с Петром Ивановичем.

Итак, все стороны, включая автора, свои позиции в отношении «центрального человеческого органа» обозначили, и наступает время для его, этого органа, проверки. Повод прост: Лизавета Александровна просит мужа дать Александру «легкий урок» на тему сердца, дружбы и любви, и Петр Иванович соглашается. Отбросив романтические фразеологизмы насчет «идеального мира», в котором дружба являет себя в кинжальном «кровопролитии» и любви, при которой происходит переход «в существование другого», Петр Иванович доходит до, кажется, простой вещи – поведения самого Александра. При этом оказывается, что, осуждая, порицая, клеймя и презирая всех, молодой Адуев просто неблагодарен и эгоистичен, потому что сосредоточен исключительно на себе самом и уверен, что от других он может требовать многого, к тому же, как он полагает, причитающегося ему «по всем правам». Таков вердикт дядюшки. Впрочем, мнение Лизаветы Александровны иное: «Я, Александр, не перестану уважать в вас сердце... Чувство увлекает вас и в ошибки, оттого я всегда извиню их»¹⁸⁹.

Дядюшка объективен. Тетушка великодушна. Спор не окончен. Однако впереди, как нам повествует автор, Александра ждали события, на поверку оказавшиеся испытаниями для его «сердцецентризма». Молодая вдова Юлия Павловна Тафаева, за которой, как помним, просил

¹⁸⁸ Там же. С. 177.

¹⁸⁹ Там же. С. 192.

поухаживать Петр Иванович, с тем чтобы охладить пыл своего любвеобильного компаньона, приударившего за ней, неожиданно становится действительно возлюбленной Александра. Причем именно такой, какая полностью соответствует тому любовному идеалу, который писатель словами молодого Адуева рисовал десятком страниц ранее. А именно: она ежеминутно требует Александра к своим ногам, живет исключительно им и того же ждет от него, чувственно-сердечно до истерики и требует, чтобы он «пил ... *чаши жизни* по капле в ее слезах и поцелуях». Говоря об этой любви, Гончаров называет ее «как будто бы припадками какой-то заразы». Но отчего это? Автор сообщает, что происходит это по причине чрезмерно развитого сердца. А именно: «Сердце в ней было развито донельзя, обработано романами и приготовлено не то что для первой, но для той романтической любви, которая существует в некоторых романах, а не в природе, и которая оттого всегда бывает несчастлива, что невозможна на деле. Между тем ум Юлии не находил в чтении одних романов здоровой пищи и отставал от сердца»¹⁹⁰. Вновь ум и сердце бегают взапуски, стараясь если не догнать, то, по крайней мере, не отстать друг от друга.

В самом деле так. Потому что далее Гончаров в духе просветительского идеала формулирует свои взгляды на эту проблему. «Кто же постарался обработать преждевременно и так неправильно сердце Юлии и оставить в покое ум?.. Кто? А тот классический триумvirат педагогов, которые, по призыву родителей, являются воспринять на свое попечение юный ум, открыть ему *всех вещей действия и причины*, расторгнуть завесу прошедшего и показать, что под нами, над нами, что в самих нас – трудная обязанность! Зато и призваны были три нации на этот важный подвиг»¹⁹¹. То, что ни одна из «наций» – француз, немец и русский – не достигла сколько-нибудь существенного результата, очевидно. Однако какова, по мнению Гончарова, в идеале должна быть эта образовательно-воспитательная метода, коль скоро он ставит о ней вопрос? Об этом речь впереди.

А пока что следует отметить (с позиций изначального жизненного принципа молодого Александра – «жизни по сердцу» после «сердечно-любовного террора», которому он подвергся со стороны вдовы Тафаевой), он впадает почти что в анабиоз, во всяком случае «ему оставалось уж немного до состояния совершенной одеревенелости». И хотя пространный разговор на эту тему у нас впереди, прежде всего в связи с личностью Ильи Ильича Обломова, интересно собственное признание и самооценка Александра в его очередном разговоре с Лизаветой Александровной. Так, свое «неучастие» в жизни, отстранение от нее, желание «покоя и сна души» Адуев-племянник объясняет следующим образом: «Я сам погубил свою жизнь. Я мечтал о славе, бог знает с чего, и пренебрег своим делом; я испортил свое скромное назначение и теперь не поправлю прошлого: поздно!»¹⁹²

Герой удаляется в деревню. Попервоначально тоска и тяжкие думы о столичной жизни не оставляют его. Он сумрачен и молчалив. Но постепенно «лень, беззаботность и отсутствие всякого нравственного потрясения водворили в душе его мир... Там на каждом шагу он встречал в людях невыгодные для себя сравнения... там он так часто падал, там увидел как в зеркале свои слабости... там был неумолимый дядя, преследовавший его образ мыслей, лень и ни на чем не основанное славолубие; там изящный мир и куча дарований, между которыми он не играл никакой роли. Наконец, там жизнь стараются подвести под известные условия, прояснить ее темные и загадочные места, не давая разгула чувствам, страстям и мечтам и тем лишая ее поэтической заманчивости, хотят издать для нее какую-то скучную, однообразную и тяжелую форму...

А здесь какое приволье! Он лучше, он умнее всех! Здесь он всеобщий идол на несколько верст кругом. Притом здесь на каждом шагу, перед лицом природы, душа его отверзалась мир-

¹⁹⁰ Там же. С. 223.

¹⁹¹ Там же. С. 224.

¹⁹² Там же. С. 281–282.

ным, успокоительным впечатлениям»¹⁹³. Прожив однажды с девками и бабами целый день по лесу, Александр присмотрел среди них молодую крестьянку Машу, которая и была тотчас же взята в дворню «ходить за баринном». Постепенно он начал постигать и «поэзию серенького неба, сломанного забора, калитки, грязного пруда и трепака. Узенький щегольской фрак он заменил широким халатом домашней работы. И в каждом впечатлении и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха присутствовало недремлющее око его материнской любви». Так прошло полтора года, и Александр снова начинает задумываться о Петербурге. Каковы же мотивы? В этот раз они исходят вовсе не от сердца. «Зачем гаснут мои дарования? Почему мне не блистать там своим трудом?.. Теперь я стал рассудительнее. Чем дядюшка лучше меня?»¹⁹⁴

Как бы прозревая свою возможную дальнейшую жизнь в деревне, Александр в письме к дядюшке приводит пример своего соседа слева, который «мечтал по-своему переделать весь свет и Россию, а сам, пописав некоторое время бумаги в палате, удалился сюда и до сих пор не может переделать старого забора»¹⁹⁵. И вот – решено. Адуев-младший возвращается в Петербург. Близится развязка жизненной коллизии не только Александра, но и Петра Ивановича. Впрочем, ее неожиданный финал готовится автором заранее – разговором дядюшки с Александром перед отъездом того в деревню. Чем же он примечателен?

Тем, что самому Гончарову представлялось наиболее важным – разбором личностных характеристик людей, появляющихся вместе с наступающей в России эрой капитализма, равно как и методы, к которой прибегал Петр Иванович, вводя Александра в круг столичной жизни. И методы эти, если судить не только по сетованиям молодого Адуева, но и по укорам Лизаветы Александровны, оказались плохи. Чем же? Остановимся на этом поподробнее.

Итак, вначале – общее заключение, которое слышит Петр Иванович от жены: «...ты сам отчасти виноват, что он стал такой... – сказала Лизавета Александровна». А Александр продолжил: «Точно, дядюшка ... вы много помогли обстоятельствам сделать из меня то, что я теперь; но я вас не виню. Я сам виноват, что не умел, или, лучше сказать, не мог воспользоваться вашими уроками как следует, потому что не был приготовлен к ним. Вы, может быть, отчасти виноваты тем, что поняли мою натуру с первого раза и, несмотря на то, хотели переработать ее; вы, как человек опытный, должны были видеть, что это невозможно... вы возбудили во мне борьбу двух различных взглядов на жизнь и не могли примирить их: что ж вышло? Все превратилось во мне в сомнение, в какой-то хаос...»

...Представили мне жизнь в самой безобразной нагоде, и в какие лета? Когда я должен был понимать ее только с светлой стороны. ...Вы только выпустили одно из виду, дядюшка: счастье. Вы забыли, что человек счастлив заблуждениями, мечтами и надеждами; действительность не сделает счастливым...»¹⁹⁶ В этом пункте, на наш взгляд, сам того не сознавая, Александр формулирует главный пункт своей мировоззренческой системы: действительность не сделает счастливым. Однако, что же дядя?

Из его уст звучит то, что можно было бы назвать идейным кредо становящегося капитализма: «Я доказывал тебе, что человеку вообще везде, а здесь в особенности, надо работать, и много работать, даже до боли в пояснице... цветов желтых нет, есть чины, деньги: это гораздо лучше! ... Чего у тебя нет? Любви, что ли? Мало еще тебе: любил ты два раза и был любим. Тебе изменили, ты поквитался. Мы решили, что друзья у тебя есть, какие у другого редко бывают: не фальшивые... Делай все, как другие, – и судьба не обойдет тебя: найдешь свое. Смешно воображать себя особенным, великим человеком, когда ты не создан таким! ...Рассмотри массу ...»

¹⁹³ Там же. С. 315.

¹⁹⁴ Там же. С. 317–318.

¹⁹⁵ Там же. С. 322.

¹⁹⁶ Там же. С. 285.

современную, образованную, мыслящую и действующую: чего она хочет и к чему стремится? Как мыслит? И увидишь, что именно так, как я учил тебя»¹⁹⁷.

Не находит Петр Иванович общего понимания с Александром и женой и по столь волнующей их проблеме ума и сердца: «... правда, что надо больше рассуждать, нежели чувствовать? Не давать воли сердцу, удерживаться от порывов чувства? Не предаваться и не верить искреннему излиянию?

– Да, – сказал Петр Иваныч.

– Действовать надо везде по методе, меньше доверять людям, считать все ненадежным и жить одному про себя?

– Да.

– И это свято, что любовь не главное в жизни, что надо больше любить свое дело, нежели любимого человека, не надеяться ни на чью преданность, верить, что любовь должна кончиться охлаждением, изменой или привычкой? Что дружба привычка? Это все правда?

¹⁹⁷ Там же. С. 289.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1.

Восстание декабристов не может рассматриваться только как «локальный» факт нашей истории, имевший ограниченное значение на сознание и жизнь российского общества в силу его неизвестности широким народным слоям. О действительном значении восстания точно свидетельствует, например, А.И. Герцен: «14 (26) декабря действительно открыло новую фазу нашего политического воспитания, и – что может показаться странным – причиной огромного влияния, которое приобрело это дело и которое сказалось на обществе больше, чем пропаганда, и больше, чем теории, было само восстание, геройское поведение заговорщиков на площади, на суде, в кандалах, перед лицом императора Николая, в сибирских рудниках... Теория внушает убеждения, пример определяет образ действий... Безусловно, немому бездействию был положен конец; с высоты своей виселицы эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с глаз» (А.И. Герцен. О развитии революционных идей в России // Эстетика. Критика. Проблемы культуры. М.: Искусство, 1987. С. 230–231).

2.

Там же. С. 129. Как известно, Герцен причислял Чаадаева к западникам, а славянофилы считали его своим единомышленником. Однако некоторые современные исследователи придерживаются иной точки зрения. Так, по мнению В. Прокофьева, «нельзя безоговорочно причислять Чаадаева к тому или иному стану. Если он западник, то трудно тогда объяснить общие идеи, которые роднили его со славянофилами. И прежде всего очень важное и для Чаадаева, и для славян признание роли религиозных верований, роли церкви в истории народов. Он так же, как и славянофилы, говорит о значительных различиях исторических начал Европы и России. Наконец, Чаадаев считает, что раз русский народ всегда «покорен для провидения», то он непременно окажет влияние на социальное переустройство будущего людей. Но в то же время Чаадаев говорит о торжестве западной цивилизации на Руси, у него причудливо сопрягается мысль о европейском прогрессе и своего рода крестьянском социализме» (Прокофьев В. Цит. по соч. С. 177).

3.

Предваряя дальнейшее изложение, мы хотели бы сделать два замечания. Первое касается значимости для тургеневского творчества «Записок охотника». К сожалению, в нашей литературной традиции утвердилось поверхностное мнение, согласно которому в них писатель всего лишь «отражал действительность», притом «очерково-фрагментарно». См., например, заключительные комментарии к роману «Рудин», написанные А. Батюто (И.С. Тургенев. Собр. соч.: В 12 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 2. С. 291–292, 297). То, что такая оценка слишком заужена и по существу не верна, мы, надеемся, сумели показать в первом томе нашего исследования, в главе, посвященной начальному этапу тургеневского творчества. // И второе замечание – относительно формулируемого нами вопроса. Сам Тургенев, издавая в 1880 году все шесть романов вместе, писал следующее: «...меня скорее можно упрекнуть в излишнем постоянстве и как бы прямолинейности направления. Автор «Рудина», написанного в 1855 году, и автор «Нови», написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком. В течение всего этого времени я стремился... добросовестно и беспрестанно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет «the body and pressure of time» («самый образ и давление времени»), и ту быстро меняющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений» (Там же. Т. 4. С. 433).

4.

Включать в этот диапазон не только российские прецеденты, но и европейские образцы общественных движений вполне правомерно, поскольку, как мы знаем, в размышлениях и спорах русских интеллектуалов они если и воспринимались не всегда одобрительно, то, по крайней мере, не оставались вне поля общественного внимания и дискуссий. // Мы также считаем нужным акцентировать внимание и на вопросе о нашем собственном отношении (в некотором смысле даже «авторстве») к рассматриваемым проблемам. Насколько они имели место в действительности, а насколько их удалось «разглядеть» с «высоты» сегодняшнего опыта. И хотя, конечно, известную авторскую реконструкцию мы все-таки предпринимаем, но все же главным для нас остается известная методологическая установка, сформулированная крупным российским философом М.К. Петровым, – «невмешательства современности во внутренние дела прошлого... проблематизации прошлого для настоящего» (см.: Неретина С.С. Михаил Константинович Петров. Жизнь и творчество. М.: УРСС, 1999. С. 20).

5.

Нужно отметить, что внимание к этим вопросам в последнее время в России усилилось. Однако, к сожалению, этой проблематикой пока еще продолжают заниматься в основном литературоведы, которые к тому же не слишком заботят себя вопросами «проблематизации прошлого для современности» (М.К. Петров). Примером такого рода может служить недавняя довольно поверхностная работа А. Большаковой, в которой делается попытка подать многообразный русский аграрный мир исключительно в контексте полюбившегося автору модного «смысло-образа» – «архетип». В это не слишком обремененное содержанием в трактовке автора понятие, допускающее наполнение его любым материалом, вкладывается все: и «единый образ» крестьянско-дворянского «родового гнезда» как якобы найденная Тургеневым «точка равновесия» (?!), и «воспевание» «патриархально-родовых гнезд» с негативными «естественными вкраплениями в общую картину сельской России», и якобы решаемая Тургеневым задача «сохранения национальных ценностей, мудрых заветов «старины глубокой», и иная всякая всячина (см.: Большакова А. Крестьянство в русской литературе XVIII–XX веков. М.: Институт социально-педагогических проблем сельской школы, 2004. С. 147, 148, 153). Попытки работать с таким «содержанием», естественно, ни к чему содержательному не ведут.

6.

Приглашая читателя к дискуссии, еще раз отметим, что предлагаемая нами в качестве предмета для обсуждения тема романной эпопеи Тургенева о настоящих людях и о возможности в России позитивного дела в качестве таковой выделяется нами достаточно инициативно. Даже у такого глубокого исследователя, как М.М. Бахтин, который один из немногих последовательно говорит обо всех романах Тургенева, это наблюдение отсутствует. Так, в отношении романа «Дворянское гнездо» он замечает, что «основная его тема – иллюзия возможности снова начать и пережить свою жизнь. Лаврецкий, стареющий и поконченный человек, пытается создать молодое счастье, но с первых слов мы чувствуем, что это иллюзия и обман». В то же время он наряду с Рудиным также называет и Лаврецкого «лишним человеком» (см.: Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 219).

7.

Вот только «условия среды», как покажет время, не желали изменяться по революционным рецептам, и от революционеров требовался ответ на вопрос «Что делать?» Они не замедлили его дать, и потому следующим шагом в литературных рассуждениях о революционерах стали сюжеты и образы героев романов Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского, в которых в качестве условия появления не одиночек, а множества революционеров будут рассмотрены реально

имевшие место способы коллективного участия революционеров в нравственных подлостях и даже преступлениях. А вслед за этим, уже в реальной практике российской жизни, появится и на какое-то время вообще станет господствующей формула «цель оправдывает средства» в ее ленинской интерпретации – нравственно все то, что служит интересам рабочего класса (читай – партии большевиков).

8.

Добролюбов Н.А. Цит. соч. С. 370–371. Предлагаемая нами для рассмотрения философско-мировоззренческих коллизий гипотеза «заочного спора либерала-постепенца Тургенева с революционером-демократом Добролюбовым в корне отличается от трактовки, принятой в отечественном литературоведении. Так, согласно уже цитировавшейся точке зрения П.Г. Пустовойта, «жизненные наблюдения убеждали Тургенева, что демократы, с которыми он идейно разошелся, – большая и растущая сила, которая уже проявила себя во всех областях общественной деятельности. Писатель почувствовал, что именно из демократической среды должен выйти ожидаемый всеми положительный герой эпохи. Роман «Отцы и дети» он и посвятил образу русского разночинца-демократа 60-х годов» // История русской литературы XIX века. 40–60-е годы. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 268.

9.

В этом же ключе трактовал нигилизм и один из проницательных литературных критиков «правого» лагеря, современник Тургенева, М.Н. Катков, издатель и редактор либерального журнала западнического направления «Русский вестник». Так, в своей статье «Роман Тургенева и его критики» он отмечал: «Религия отрицания направлена против всех авторитетов, а сама основана на грубейшем поклонении авторитету. У нее есть свои беспощадные идолы. Все, что имеет отрицательный характер, есть уже *eo ipso* (вследствие этого) непреложный догмат в глазах этих сектаторов. Чем решительнее отрицание, тем менее обнаруживает оно колебаний и сомнений, тем лучше, тем могущественнее авторитет, тем возвышеннее идол, тем непоколебимее вера. Отрицательный догматик ничем не связан; слово его вольно, как птица; в уме его нет никаких определенных формаций, никаких положительных интересов, которые могли бы останавливать и задерживать его; ему нечего отстаивать, нечего охранять; он избавлен от необходимости сводить концы с концами. Ему нужна только полная самоуверенность и умение пользоваться всеми средствами для целей отрицания. Чем менее он разбирает средства, тем лучше. Он в этом отношении совершенно согласен с отцами-иезуитами и вполне принимает их знаменитое правило, что цель освящает всякие средства» (см.: Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М.: Астрель, 2003. С. 150–151).

10.

В данном случае, предваряя дальнейшее изложение, мы полагаем уместным привести мнение о «левых критиках» В. Набокова, которое нам кажется верным: наряду с правительством силой, противостоящей художнику и стеснявшей его, оказывалась «антиправительственная, общественная, утилитарная критика, все эти политические, гражданские, радикальные мыслители. Нужно отметить, что по своему образованию, уму, устремлениям и человеческим достоинствам эти люди стояли неизмеримо выше тех проходимцев, которых подкармливало государство, или старых бестолковых реакционеров, топтавшихся вокруг сотрясаемого трона. Левого критика занимало исключительно благосостояние народа, а все остальное: литературу, науку, философию – он рассматривал как средство для улучшения социального и экономического положения обездоленных и изменения политического устройства страны. Неподкупный герой, безразличный к тяготам ссылки, но в равной степени и ко всему

утонченному в искусстве, – таков был этот тип людей. Неистовый Белинский в 40-е гг., нестигаемые Чернышевский и Добролюбов в 50-е и 60-е, добропорядочный зануда Михайловский и десятки других честных и упрямых людей – всех их можно объединить под одной вывеской: политический радикализм, уходящий корнями в старый французский социализм и немецкий материализм и предвещавший революционный социализм и вялый коммунизм последних десятилетий, который не следует путать с русским либерализмом в истинном значении этого слова, так же как и с просвещенными демократиями в Западной Европе и Америке» (Набоков В. Цит. соч. С. 17–18).

11.

Предлагаемая нами трактовка образа Базарова отлична от той, которую находим, например, у такого выдающегося исследователя, как М.М. Бахтин. По его мнению, у Тургенева «в образе Базарова мы замечаем нечто новое: попытку создать русского Инсарова. Это – сильный человек, в нем русские непочатые силы. Но с героем, в котором автор увидел силу и которого хочет героизировать, он не может справиться. ...Он живет своею жизнью и знать не знает автора. Тургенев раз ставит его в неловкое положение, другой, Базаров все же продолжает идти своей дорогой. Тогда автор весьма прозаически его прихлопнул. И знаменитый конец звучит нелепо» (Бахтин М.М. Цит. соч. С. 220–221).

12.

Высказанная нами позиция лишь по форме может быть отождествлена с симпатией к герою романа, высказанной в знаменитых хвалебных статьях Д.И. Писарева и Н.Н. Страхова. Мы, в отличие от уважаемых критиков, начинаем любить Базарова лишь после преобразования, на пороге смерти. Сравним наше мнение с точкой зрения, например, Писарева: «Смысл романа вышел такой: теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности; но в самых увлечениях сказывается свежая сила и неподкупный ум; эта сила и этот ум дают себя знать в минуту тяжелых испытаний; эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни» (выделено нами. – С.Н., В.Ф.) (см.: Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М.: Астрель, 2003. С. 74).

13.

Вот какую характеристику Маркелову дает Тургенев: «Маркелов был человек упрямый, неустрашимый до отчаянности, не умевший ни прощать, ни забывать, постоянно оскорбляемый за себя, за всех угнетенных, – и на все готовый. Его ограниченный ум бил в одну и ту же точку: чего он не понимал, то для него не существовало; но презирал он и ненавидел фальшь и ложь. С людьми высшего полета, с «резаками», как он выражался, он был крут и даже груб; с народом – прост; с мужиками – обходителен, как со своим братом. Хозяин он был посредственный: у него в голове вертелись разные социалистические планы, которые он также не мог осуществить, как не умел закончить начатых статей о недостатках артиллерии» (Там же. С. 231).

14.

Хотя эти мысли вложены в уста далеко не позитивного персонажа Паклина, они тем не менее, на наш взгляд, являются мыслями самого Тургенева. Думаем так мы потому, что содержание этих речей верно не только отражает существо проблем, изложенных в романе, но и согласуется с мыслями писателя, известными по другим источникам. Что же до того, что их произносит Паклин, то ответ состоит, по-видимому, в том, что, как верно предположил в своем исследовании российской истории и культуры Т.Г. Масарик, в произведении Тургенева этот

персонаж играет особую роль злобного спорщика. Герой этот – результат романной переклички с античной трагедией. Так, в «Илиаде» Гомера Терсит – греческий воин, осмеливавшийся во время Троянской войны спорить с предводителем греков Агамемноном. Гомер изображает его злобным, болтливым и уродливым (см.: Масарик Т.Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного университета, 2003. Кн. III. Ч. 2–3. С. 320).